ГИЛБЕРТ КИЙТ

ЧЕСТЕРТОН



Возвращение Дон Кихота

Возвращение Дон Кихота
Гилберт Кийт Честертон

Аннотация
Гилберт Кийт Честертон. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОН КИХОТА
Глава 1. ВЫРОДОК
Глава 2. ВРАГ
Глава 3. БИБЛИОТЕЧНАЯ ЛЕСТНИЦА
Глава 4. ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЖОНА БРЕЙНТРИ
Глава 5. ВТОРОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЖОНА БРЕЙНТРИ
Глава 6. МЭРРЕЛ ИДЕТ ЗА КРАСКАМИ
Глава 7. ТРУБАДУР БЛОНДЕЛЬ
Глава 8. ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ МАРТЫШКИ
Глава 9. ТАЙНА СТАРОГО КЕБА
Глава 10. ВРАЧИ РАСХОДЯТСЯ В МНЕНИЯХ
Глава 11. БЕЗУМНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ
Глава 12. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЖ
Глава 13. СТРЕЛА И ВИКТОРИАНЕЦ
Глава 14. ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРАНСТВУЮЩЕГО РЫЦАРЯ
Глава 15. ПЕРЕКРЕСТОК
Глава 16. КОРОЛЕВСКИЙ СУД
Глава 17. ОТРЕЧЕНИЕ ДОН КИХОТА
Глава 18. ТАЙНА СИВУДСКОГО АББАТСТВА

Глава 19. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОН КИХОТА

Аннотация

Роман классика английской литературы XX века Г. К. Честертона (1874—1936) в сюрреалистическом духе и с истинно британским юмором повествует о комико-героических приключениях сэра Дугласа Мэррела и его верного оруженосца. Театральная постановка и путешествие за красной краской приводят к революции в масштабах королевства.

Гилберт Кийт Честертон
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОН КИХОТА

Глава 1. ВЫРОДОК

Зала Сивудского аббатства была залита солнцем, ибо стены ее являли почти сплошной ряд окон, выходящих в сад, уступами спускающийся к парку и освещенный чистым утренним светом. Оливия Эшли и Дуглас Мэррел, почему-то прозванный Мартышкой, спешили использовать свет для живописи, она — для очень мелкой, он — для размашистой. Оливия тщательно выписывала нежные тона, подражая заставкам старинных книг, которые очень любила, как и вообще любила старину, хотя представляла ее себе довольно смутно. Мэррел, верный современности, обмакивал в ведра с яркими красками огромные как швабра кисти и ударял ими по холсту, которому предстояло стать задником любительского спектакля. Ни он, ни она рисовать не умели, и знали это, но она хотя бы старалась, а он — нет.

— Вот вы говорите, диссонансы, — рассуждал Мэррел почти виновато, ибо Оливия не отличалась благодушием. — А ваша манера сужает кругозор. В конце концов задник — та же застав-

ка под микроскопом.

— Ненавижу микроскопы, — отрезала Оливия.

— Однако вам без них не обойтись, — возразил Мэррел. — Для такой мелкой работы вставляют в глаз лупу. Надеюсь, вы до этого не дойдете. Лупа вам не к лицу.

С этим трудно было спорить. Оливия Эшли была хрупкой девушкой с тонким лицом, а изысканное изящество ее зеленого платья отвечало кропотливой строгости занятий. Несмотря на свою молодость, она немного напоминала старую деву. Рядом с Мэррелом валялись тряпки, клочки бумаги и ослепительные образцы неудач, но ее краски и кисточки были разложены в идеальном порядке. Не для нее вкладывали наставления в коробки с акварелью, и не ей приходилось говорить, что кисточку не суют в рот.

— Вы меня не поняли, — сказала она. — Вся ваша наука, весь этот нынешний стиль уродуют и людей, и вещи. Смотреть в микроскоп — все равно что смотреть в сточную яму. Я вообще не хочу смотреть вниз, оттого я и люблю готику. Там все линии стремятся ввысь и указывают на небо.

— Указывать невежливо, — сказал Мэррел. — И потом, могли бы положиться на нас, небо и так видно.

— Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, — отвечала Оливия, трудясь над рисунком. — Самая суть средневековых людей выразилась в их соборах, в острых сводах.

— И в острых копьях, — кивнул Мэррел. — Если вы что-нибудь делали не так, вас протыкали насквозь. Чересчур остро на мой вкус. Острей остроты.

— Они сами кололи друг друга, — возразила Оливия. — Они не сидели в креслах, пока ирландец бьет чернокожего. Ни за что не пошла бы на бокс! А дамой на турнире стала бы…

— Вы были бы дамой, но я не был бы рыцарем, — печально сказал Мэррел. — Не судьба. Родись я королем, меня утопили бы в бочке. Нет, я родился бы крепостным, или как их там… А может, прокаженным… В общем, кем-нибудь таким, средневековым. Только бы я сунулся в тринадцатый век, меня приставили бы главным прокаженным к королю, и я глядел бы в церковь через такое окошечко, как на вашей картинке.

— Сейчас вы туда вообще не заглядываете, — заметила Оливия.

— Предоставляю это вам, — сказал он и окунул кисть в краску.

Писал он тронный зал Ричарда I, используя

для этого, к ужасу Оливии, лиловые, багровые и малиновые тона. Ужасаться она была вправе, ибо сама выбрала сюжет и написала пьесу, хотя ее и сбивали более бойкие помощники. Речь в этой пьесе шла о трубадуре, который пел песни и Львиному Сердцу[1], и многим другим, включая дочь здешнего сеньора, увлекавшуюся любительским театром. Высокородный Дуглас Мэррел легко относился к нынешним неудачам, поскольку проваливался и на других поприщах. Знал он очень много, не преуспел ни в чем. Особенно не повезло ему в политике. Когда-то его прочили в лидеры какой-то партии, но в решительный момент он не уловил связи между налогом на лесные заповедники и применением в Индии карабинов старого образца, вследствие чего племянник эльзасского ростовщика, яснее представлявший себе, в чем дело, его обошел. С тех пор он выказывал любовь к дурному обществу, которая спасла стольких аристократов от беды, а

1 notes: 1

Львиное Сердце — английский король Ричард I (1157—1199), коронован в 1189 г., возглавил крестовый поход на Иерусалим (1191), пленен графом Австрийским; по легенде, освобожден из плена трубадуром Блонделем (см. коммент. [7]).

7 notes: 7

Трубадур Блондель — любимый трубадур Ричарда Львиное Сердце; бродил по Европе и пел песни, в надежде, что сидевший в темнице король услышит и узнает его.

нашу страну — от гибели. Любовь эта отразилась на его одежде и манерах — он стал небрежным и грубоватым, словно нерадивый конюх. Его светлые волосы начинали седеть, но он был еще молод, хотя и намного старше своей собеседницы. Лицо его — простое, но не обыденное — почти всегда казалось печальным, и это было смешно, особенно — в сочетании с галстуками, почти такими же яркими, как его краски.

— У меня негритянский вкус, — сообщил он, делая огромный багровый мазок. — Смешанные и серые тона, которые так ценят мистики, наводят на меня их любимую тоску. Вот, говорят, что надо возродить все кельтское. А почему не эфиопское? В банджо больше того-сего, чем в старинной лютне. Какой исторический деятель сравнится с Туссеном Лувертюром или Букером Вашингтоном[2]? Какой литературный герой — с дядей Томом и

2 notes: 2

Туссен Лувертюр (1743—1803) — вождь гаитянской революции, которого Наполеон назначил генералом повстанческих армий; в последние годы жизни — единоличный диктатор. *Букер Вашингтон* (1858—1915) — американский политический деятель.

дядюшкой Римусом[3]? Франты хоть завтра станут чернить себе лица, как пудрили когда-то волосы. Да, я начинаю видеть смысл в моей растраченной жизни. Мое призвание — негритянский оркестр на пляже. В пошлости столько хорошего… Как вы думаете?

Оливия не отвечала, словно и не слышала. Она бывала язвительной, но когда становилась серьезной, лицо ее казалось совсем детским. Тонкий профиль и полуоткрытые губы напоминали не просто ребенка, а заблудившуюся сиротку.

— Я помню негра на старинном рисунке, — наконец проговорила она. — Волхва в золотой короне. Сам он был черен, но одежда его горела как пламя. Видите, и с негром, и с яркими цветами не так уж все просто. Такой краски больше нет, хотя я помню людей, пытавшихся ее сделать. Секрет утерян, как секрет цветного стекла. И золото уже не то. Вчера в библиотеке я видела старый требник. Вы знаете, что тогда писали золотом Божье имя? Теперь золотили бы только

---

3 notes: 3

Дядя Том — персонаж романа Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852), старик негр, истинно-христианский мученик. *Дядюшка Римус* — персонаж американского фольклора, старик негр, сочинитель сказок о братце Лисе и братце Кролике, собранных Дж. Хэррисом в книги «Песни и сказки дядюшки Римуса» (1881), «Дядюшка Римус и братец Кролик» (1907).

слово «золото».

После этой речи оба они молчали и работали, пока где-то в коридорах не раздался властный и громкий крик: «Мартышка!» Мэррел кротко терпел это прозвище, но его немного коробило, когда так выражался Джулиан Арчер. Дело было не в зависти, хотя Арчер, не в пример ему, повсюду преуспевал. Между простотой и грубостью есть тонкая грань, которую чувствуют люди вроде Мэррела при всем их негритянском вкусе. В Оксфорде Мэррел выбрасывал в окошко только близких друзей.

Джулиан Арчер был одним из тех, кто поспевает всюду, и почему-то всюду нужен. Он не был глуп, никого не обманывал, не лез вперед и оправдывал доверие, когда ему буквально навязывали какое-нибудь дело. Но люди потоньше не могли понять, почему обращались к нему, а не к другому. Когда журнал устраивал дискуссию на тему «Можно ли есть мясо?», высказаться просили Бернарда Шоу, доктора Сэлиби, лорда

Даусона[4] и Джулиана Арчера. Когда обсуждали проект национального театра или памятника Шекспиру, речи говорили Виола Три, сэр Артур Пинеро, Каминс Кэрр[5] и Джулиан Арчер. Когда выпускали сборник статей о загробной жизни, в нем выражали свое мнение сэр Оливер Лодж, Мэри Корелли, Джозеф Маккейб[6] и Джулиан Арчер. Он был членом парламента и многих других клубов. Он написал исторический роман, он считался блестящим актером, так что именно ему и полагалось играть главную роль в пьесе «Трубадур Блондель»[7]. В том, что он делал, не было ничего дурного или странного. Его книга о битве при Азенкуре[8] была вполне хороша, если рассматривать ее как современную историческую повесть, то есть — как приключения

---

4 notes: 4

Бернард Шоу (1856—1950) — английский писатель и драматург; друг и постоянный оппонент Честертона, противник брака, курения, спиртных напитков и мяса. *Доктор Сэлиби* (1878—1949) — референт министра пищевой промышленности Великобритании, автор книги «Солнце и здоровье» (1923), выступал за самоограничение в еде. *Лорд Даусон* Джон Уильям (1820—1899) — президент Британской и Американской корпораций по развитию науки.

5 notes: 5

Артур Пинеро (1855—1934) — английский драматург. Артур Стреттел *Каминс Кэрр* (1882—1959) — английский переводчик и драматург, в 20-е гг. — член парламента.

6 notes: 6

Оливер Лодж (1851—1940) — английский физик, электромеханик,

пытался примирить религиозное и научное мировоззрение, автор книги «Эволюция и творение» (1927); в мистическом духе выдержано его сочинение «Раймонд, или Жизнь и Смерть» (1925). *Мэри Корелли* (1855—1924) — псевдоним английской писательницы и пианистки Мэри Маккей, перу которой принадлежали популярные в свое время мелодраматические романы «Варрава» (1893) и «Тревоги Сатаны» (1895), характеризующиеся нагромождением мистических явлений и чудес. *Джозеф Маккейб* (1867—1955) — британский философ ирландского происхождения, монах-францисканец, с 1895 г. — ректор университетского колледжа, в 1896 г. отказался от сана, вышел из ордена и стал решительно критиковать католическое учение с позиций рационалистической философии. Автор труда «12 лет в монастыре» (1897).

7 notes: 7

Трубадур Блондель — любимый трубадур Ричарда Львиное Сердце; бродил по Европе и пел песни, в надежде, что сидевший в темнице король услышит и узнает его.

8 notes: 8

Битва при Азенкуре (1415) — решающий эпизод Столетней войны (1337—1453), когда лучники английского короля Генриха V разбили тяжеловооруженную французскую армию.

школьника на маскараде. И мясо, и бессмертие души он снисходительно допускал. Но свои умеренные мнения он высказывал громко и властно, тем звучным голосом, который сейчас гудел в коридоре. Он был из тех, кто способен выдержать молчание, повисшее после сказанной вслух глупости. Зычный голос повсюду предшествовал ему, как и доброе имя, и фотографии в газетах, запечатлевшие темные кудри и смелое, красивое лицо. Мисс Эшли как-то сказала, что он похож на тенора. Мэррел заметил на это, что голос у него погуще.

Джулиан Арчер появился в виде трубадура, если не считать телеграммы, которую он держал. Он репетировал и раскраснелся от воодушевления; хотя телеграмма, по-видимому, несколько сбила его.

— Нет, вы подумайте, — сказал он. — Брейнтри не хочет играть.

— Что ж, — сказал Мэррел, продолжая трудиться. — Я и не думал, что он захочет.

— Конечно, глупо обращаться к такому типу, — сказал Арчер, — но больше никого нет. Я говорил Сивуду, глупо это затевать, когда все разъехались. Брейнтри просто знакомый… Не пойму, как он и этого добился.

— По ошибке, я думаю, — сказал Мэррел. — Сивуд слышал, что он представляет в парламенте какие-то союзы, и позвал его. Когда обнаружилось, что Брейнтри представляет профсоюзы, он удивился, но не поднимать же скандала. Вероятно, он и сам толком не знает, что это такое.

— А вы знаете? — спросила Оливия.

— Этого не знает никто, — отвечал Мэррел. — А какие-то союзы я сам когда-то представлял.

— Я бы не стал отворачиваться от человека за то, что он социалист, — возгласил свободомыслящий Арчер. — Ведь были же… — и он замолк, пытаясь припомнить примеры.

— Он не социалист, — бесстрастно уточнил Мэррел. — Он из себя выходит, когда его назовут социалистом. Он синдикалист.

— А это еще хуже? — простодушно спросила Оливия.

— Все мы интересуемся социальными вопросами и хотим, чтобы жизнь стала лучше, — туманно сказал Арчер. — Но нельзя защищать человека, который натравливает класс на класс, толкует о ручном труде и всяких немыслимых утопиях. Я лично считаю, что капитал накладывает обязанности, хотя и дает…

— Ну, — перебил его Мэррел, — тут у меня свое

мнение. Посмотрите, я работаю руками.

— Во всяком случае, играть он не будет, — повторил Арчер. — Надо кого-нибудь найти. Роль маленькая, второй трубадур, с ней всякий справится, только бы он был молод. Потому я и подумал о Брейнтри.

— Да, он еще молод, — сказал Мэррел, — и с ним много молодых.

— Ненавижу их всех, — с неожиданным пылом сказала Оливия. — Прежде жаловались, что молодые бунтуют потому, что они романтики. А эти бунтуют потому, что они циники — пошлые, прозаичные, помешанные на технике и деньгах. Хотят создать мир атеистов, а создадут стадо обезьян.

Мэррел помолчал, потом прошел в другой конец залы, к телефону, и набрал какой-то номер. Начался один из тех разговоров, слушая которые ощущаешь себя в полном смысле этого слова полоумным; но сейчас все было ясно из контекста.

— Это вы, Джек? — Да, знаю. Потому и звоню. — Да, да, в Сивуде. — Не могу, вымазался, как индеец. — А, ничего, вы же придете по делу. — Ну, конечно… Какой вы, честное слово… — Да при чем тут принципы? — Я вас не съем, даже не выкрашу. — Ладно.

Он повесил трубку и, насвистывая, вернулся к творчеству.

— Вы знакомы с Брейнтри? — удивилась Оливия.

— Вы же знаете, что я люблю дурное общество, — сказал Мэррел.

— Даже социалистов? — не без возмущения спросил Арчер. — Так и до воров недалеко!

— Вкус к дурному обществу не сделает вором, — сказал Мартышка. — Ворами часто становятся те, кто любит высшее общество[9]. — И он принялся украшать лиловую колонну оранжевыми звездами, в полном соответствии с общеизвестным стилем той эпохи.

---

9 notes: 9

Ворами часто становятся те, кто любит высшее общество — ср. сходные рассуждения из проповеди отца Брауна в финале рассказа «Странные шаги».

Глава 2. ВРАГ

Джон Брейнтри был длинный, худой, подвижный человек с мрачным лицом и темной бородкой. По-видимому, и хмурился он, и бороду носил из принципа, как ярко-красный галстук. Когда он улыбался (а он улыбнулся, увидев декорацию), вид у него был приятный. Знакомясь с дамой, он вежливо, сухо и неуклюже поклонился. Манеры, изобретенные некогда знатью, стали обычными среди образованных ремесленников, а Брейнтри начал свой путь инженером.

— Вы попросили, и я пришел, — сказал он Мартышке. — Но толку от этого не будет.

— Нравятся вам эти краски? — спросил Мэррел. — Многие хвалят.

— Не люблю, — отвечал Брейнтри, — когда суеверия и тиранию облачают в романтический пурпур. Но это не мое дело. Вот что, Дуглас, мы условились говорить прямо. Я не хотел бы обижать человека в его доме. Союз Углекопов объявил забастовку[10], а я — секретарь Союза. Я

---

10 notes: 10

...объявил забастовку. — Тема эта подсказана крупнейшей в истории Англии забастовкой шахтеров (1925—1926).

приношу вред Сивуду, зачем же мне вредить ему еще, портить пьесу?

— Из-за чего вы бастуете? — спросил Арчер.

— Из-за денег, — сказал Брейнтри. — Когда за хлебец берут двойную цену, мы должны ее платить. Называется это «сложная экономическая система». Но еще важней для нас признание.

— Какое признание? — не понял Арчер.

— Видите ли, профсоюзы юридически не существуют, — отвечал синдикалист. — Они ужасны, они вот-вот погубят британскую промышленность, но их нет. Только в этом и убеждены их злейшие враги. Вот мы и бастуем, чтобы напомнить о своем существовании.

— А несчастный народ сидит без угля! — воскликнул Арчер. — Ну что ж, вы увидите, что с общественным мнением вам не сладить. Не будете работать, не подчинитесь власти — ничего, мы найдем людей! Я лично ручаюсь за добрую сотню человек из Оксфорда, Кембриджа и Сити. Они пойдут в шахты и сорвут ваш заговор.

— С таким же успехом, — презрительно сказал Брейнтри, — сто шахтеров закончат рисунок мисс Эшли. Шахтеру нужно уменье. Углекоп — не грузчик. Хороший грузчик из вас бы вышел…

— По-видимому, это оскорбление, — предполо-

жил Арчер.

— Ну что вы! — ответил Брейнтри. — Это комплимент.

Миролюбивый Мэррел вмешался в разговор.

— Очень хорошо! Сперва грузчик, потом трубочист, все чернее и чернее.

— Вы, кажется, синдикалист? — строго спросила Оливия, помолчала и прибавила: — А что это, собственно, такое?

— Попробую объяснить кратко, — серьезно отвечал Брейнтри. — Мы хотим, чтобы шахта принадлежала шахтерам.

— Как же вы с ними управитесь? — спросила Оливия.

— Смешно, не правда ли? — сказал синдикалист. — Не требуют же, чтобы краски принадлежали художнику!..

Оливия встала, подошла к открытому французскому окну и стала хмуро смотреть в сад. Хмурилась она отчасти из-за Брейнтри, отчасти из-за собственных мыслей. Помолчав минуту-другую, она вышла на посыпанную гравием дорожку и медленно удалилась. Тем самым она выразила неудовольствие; но синдикалист слишком распалился, чтобы это заметить.

— В общем, — сказал он, — мы оставляем за

собой право бастовать.

— Не злитесь вы, — настаивал миротворец, просунув между противниками большую красную кисть. — Не буяньте, Джек, а то прорвете королевский занавес.

Арчер медленно вернулся на свое место, а противник его, поколебавшись, направился к французскому окну.

— Не беспокойтесь, — проворчал он, — я не прорву ваших холстов. Хватит с меня того, что я пробил брешь в вашей касте. Чего вы хотите от меня? Я верю, вы настоящий джентльмен, и люблю вас за это. Но что нам с того, кто настоящий джентльмен, кто поддельный? Вы знаете не хуже моего: когда таких, как я, зовут в такие дома, как этот, мы идем, чтобы замолвить слово за собратьев, и вы любезны с нами, и ваши дамы с нами любезны, и все прочие, но приходит время… Как вы назовете человека, который принес письмо от друга и не смеет его передать?

— Нет, посудите сами, — возразил Мэррел. — Брешь в обществе вы пробили, но зачем же бить меня? Мне решительно некого позвать. Спектакль примерно через месяц, но тогда здесь будет еще меньше народу, а сейчас надо репетировать. Почему бы вам не помочь нам? При чем тут ваши

убеждения? У меня, например, нет убеждений, я износил их в детстве. Но я не люблю обижать женщин, а мужчин здесь нет.

Брейнтри пристально посмотрел на него.

— Здесь нет мужчин, — повторил он.

— Ну, конечно, есть старый Сивуд, — сказал Мэррел. — Он по-своему не так уж плох. Не ждите, что я буду судить его сурово, как вы. Но трубадуром я его не вижу. А других мужчин и правда нет.

Брейнтри все смотрел на него.

— Мужчина есть в соседней комнате, — сказал он, — и в коридоре, и в саду, и у подъезда, и в конюшне, и на кухне, и в погребе. Что за чертоги лжи вы построили, если вы видите этих людей каждый день и не знаете, что они — люди! Почему мы бастуем? Потому что пока мы работаем, вы забываете о нашем существовании. Велите вашим слугам служить вам, но при чем тут я?

Он вышел в сад и гневно зашагал по дорожке.

— Да, — сказал Арчер, — признаюсь, я не мог бы вынести вашего друга.

Мэррел отошел от декорации и, склонив голову набок, стал разглядывать ее взглядом знатока.

— Насчет слуг он хорошо придумал, — кротко сказал он. — Представьте Перкинса в виде труба-

дура. Ну, здешнего дворецкого. А лакеи сыграли бы лучше некуда.

— Не говорите ерунды, — сердито сказал Арчер. — Роль маленькая, но нужно делать массу всяких вещей. Он целует принцессе руку!

— Дворецкий сделал бы это как зефир, — ответил Мэррел. — Что ж опустимся ниже. Не подойдет он, пригласим лакея, потом — грума, потом — конюха, потом — чистильщика ножей. Если же не выйдет ни с кем, я спущусь на самое дно и попрошу библиотекаря. А что? Это мысль. Библиотекаря!

С внезапным нетерпением он швырнул тяжелую кисть в другой конец залы и выбежал в сад, а за ним поспешил удивленный Арчер.

Было совсем рано, участники спектакля встали задолго до завтрака, чтобы подучить роли и порисовать, а Брейнтри всегда рано вставал, чтобы написать и отослать свирепую, если не бешеную, статью в вечернюю рабочую газету. Утренний свет еще не утратил в углах и закоулках того бледно-розового оттенка, который побудил поэта наделить зарю перстами. Дом стоял на горе, вокруг которой извивался Северн[11]. Сад спускался

11 notes: 11

Северн — судоходная река на западе Англии, протекает по равнине Гроустер.

уступами, но деревья в белом цвету и большие клумбы, строгие и яркие, как гербы, не скрывали могучих склонов. На горизонте клубами пушечного дыма поднимались облака, словно солнце беззвучно обстреливало возвышенности земли. Ветер и свет накладывали глянец на склоненную траву, и казалось, что Мэррел и Арчер стоят на сверкающем плече мира. Почти у вершины, как бы случайно, серели камни прежнего аббатства, а за ним виднелось крыло старого дома, куда и держал путь Мэррел. Театральная красота и театральная нарядность Арчера выигрывали на фоне прекрасной, как декорация, природы, и эффект достиг апогея, когда в саду появилась еще одна участница спектакля — девушка в короне, чьи рыжие волосы казались царственными и сами по себе, ибо она держала голову и гордо, и просто, не могла стоять при звуке трубы, как боевой конь в Писании[12], и радостно несла пышные одежды, развеваемые ветром. Джулиан Арчер в обтянутом трехцветном костюме был очень живописен, и рядом с ним по-современному тусклый Мэррел выглядел не лучше, чем конюхи, с которыми он так часто общался.

---

12 notes: 12

…как боевой конь в Писании. — Иов, 39, 24.

Розамунда Северн, единственная дочь лорда Сивуда, была из тех, кто с громким всплеском кидаются в любое дело. И красота ее, и доброта, и веселость били через край. Ей очень нравилось быть средневековой принцессой, хотя бы в пьесе; но она не мечтала о старине, как ее подруга и гостья. Напротив, она была весьма современна и практична. Если бы не консерватизм ее отца, она бы стала врачом, а так — стала очень энергичной благотворительницей. Когда-то она увлекалась и политикой, но друзья ее не могли припомнить, отстаивала она или отрицала права женщин.

Увидев издали Арчера, она окликнула его звонким повелительным голосом:

— Я вас ищу. Как вы думаете, не повторить нам нашу сцену?

— А я ищу вас, — перебил ее Мэррел. — Драма в мире драмы. Вы часом не знаете нашего библиотекаря?

— При чем тут библиотекарь? — рассудительно спросила Розамунда. — Конечно, я его знаю. Не думаю, чтобы кто-нибудь знал его хорошо.

— Наверное, книжный червь, — заметил Арчер.

— Все мы черви, — весело сказал Мэррел. — У книжного червя просто вкус потоньше. Но я бы

хотел поймать его, как птичка. Розамунда, будьте птичкой, поймайте его. Нет, я серьезно. Ты знаешь край… то есть, знаете ли вы библиотеку, и можете ли вы изловить живого библиотекаря?

— Я думаю, сейчас он там, — немного удивленно сказала Розамунда. — Пойдите сами, поговорите с ним. Никак не пойму, на что он вам нужен.

— Вы всегда приступаете прямо к делу, — сказал Мэррел. — Какая же вы после этого птичка?

— Райская птица, — вставил любезный Арчер.

— А вы пересмешник, — засмеялась Розамунда.

— Я и червяк, и пересмешник, и мартышка, — согласился Мэррел. — Что поделаешь, эволюция… Но прежде, чем превратиться еще в кого-нибудь, я вам объясню. Гордый Арчер не хочет, чтобы чистильщик играл трубадура, и я унижусь до библиотекаря. Не знаю, как его зовут, но нужен нам кто-нибудь!

— Его фамилия Херн, — не совсем уверенно промолвила дама. — Вы к нему не ходите… То есть, я хочу сказать, он человек приличный и, кажется, очень ученый.

Но Мэррел, со свойственной ему стремительностью, уже завернул за угол, туда, где сверкала стеклянная дверь в библиотеку. Там он оста-

новился, глядя вдаль. На фоне утреннего неба темнели два силуэта — именно те, которые он и представить себе не мог вместе. Один был Джоном Брейнтри, другой — Оливией. Правда, когда он на них смотрел, Оливия отвернулась то ли в гневе, то ли в смущении. Но Мэррела удивило, что они вообще встретились. Его печальное лицо стало на минуту озадаченным; потом он встряхнулся и легко вошел в библиотеку.

Глава 3. БИБЛИОТЕЧНАЯ ЛЕСТНИЦА

Сивудский библиотекарь однажды попал в газеты; но, вероятно, о том не узнал. Было это в 1906 году, во времена великого верблюжьего спора, когда профессор Отто Эльк, неумолимый гебраист, смело и рыцарственно бился с Книгой Второзакония и сослался по ходу дела на близкое знакомство безвестного библиотекаря с древними хеттами. Пусть просвещенный читатель не думает, что это — простые хетты; нет, это более древний народ, называвшийся тем же именем. Библиотекарь действительно знал о них очень много, но только (как он добросовестно разъяснял) за период от объединения царства при Пан-Эль-Заге, ошибочно называемом Пан-Уль-Загом, до бедственной битвы при Уль-Замуле, после которой, естественно, нечего и говорить о древнехеттской культуре. В данном случае мы вправе сказать, что никто не знал, что он знает. Он ничего не писал о своих хеттах, а если бы написал, вышла бы целая библиотека. Но никто не смог бы в ней разобраться, кроме него.

В публичном споре он появился внезапно и точно так же из него исчез. По-видимому, у его хеттов существовала какая-то система совершенно особенных иероглифов, которые на взгляд жестокого мира были трещинами и царапинами полуразрушенного камня. Где-то в Писании говорится, что кто-то у кого-то угнал сорок семь верблюдов; но профессор Эльк возвестил человечеству, что в хеттском рассказе о том же событии, согласно изысканиям ученого Херна, упомянуто лишь сорок. Открытие это подрывало основы христианской космологии, а по мнению многих, — самым страшным и многообещающим образом меняло взгляды на брак. Имя библиотекаря замелькало в статьях, и в перечне претерпевших гонения и небрежение произошла приятная перемена: Галилей, Бруно и Дарвин[13] обратились в Галилея, Бруно и Херна. Что-что, а небрежение здесь было, ибо сивудский библиотекарь продолжал трудиться в одиночку над своими иероглифами и разобрал к этому времени слова «и семь». Но не

13 notes: 13

Дарвин Чарльз Роберт (1809—1882) — английский естествоиспытатель, основоположник эволюционного учения. Честертон критиковал дарвинизм как проявление позитивистского толкования феномена человека. Критику дарвинизма у Честертона см. подробнее в эссе «О поклонении успеху» (сб. «При всем при том») и в книге «Вечный человек».

будут же просвещенные люди обращать внимание на такую мелочь.

Библиотекарь боялся дневного света, и ему вполне подобало стать тенью среди библиотечных теней. Высокий, худой, он к тому же держал одно плечо выше другого. Волосы у него были пыльно-белокурые, лицо — длинное, нос — прямой, бледно-голубые глаза — расставлены очень широко, так что казалось, будто у него, собственно, один глаз, а другой неведомо где. В известном смысле так оно и было — другим его глазом смотрел человек, живший десять тысяч лет назад.

В Майкле Херне было то, что кроется в любом ученом под напластованиями учености и помогает вынести ее груз. Когда это выбивается наверх, оно зовется поэзией. Ведомый чутьем, Херн созерцал то, что изучал. Даже пытливые люди, возлюбившие уголки истории, увидели бы в нем лишь пыльного любителя древности, корпящего над горшками, мисками и пресловутым каменным топором, который так хочется закопать обратно. Это было бы несправедливо. Бесформенные предметы были для него не идолами, но орудиями. Глядя на хеттский топорик, он видел, как кто-то убивает им добычу, которую сварит в хеттском горшке; глядя на горшок, он

видел, как кипит в нем вода, в которой варится то, что убил топорик. Конечно, он сказал бы точно, что́ именно там варилось; он мог бы составить хеттское меню. Из скудных обломков он создал древний город, затмивший Ассирию неуклюжим величием. Душа его блуждала под странным золотисто-синим небом, среди людей в головных уборах, высоких, как гробницы, гробниц, высоких, как крепости, и бород, узорных, как рисунок обоев. Когда он смотрел из открытого окна на садовника, подметавшего дорожки, он видел чудищ, как бы вырубленных из скалы, и созерцал их властные лица, огромные, словно город. Наверное, хетты немного сместили его разум. Когда один неосторожный ученый повторил при нем досужую сплетню о царевне Паль-Уль-Газили, библиотекарь кинулся на него с метелкой для обметания книг и загнал на вершину библиотечной лестницы. Одни считали, что эта история основана на фактах, другие — что ее выдумал Дуглас Мэррел.

Во всяком случае, она была хорошей аллегорией. Мало кто знает, как много буйства и пыла кроется в глубинах самых тихих увлечений. Боевой дух прячется там, как в норе или в закутке, предоставляя равнодушию и скуке более

заметные участки человеческой деятельности. Можно подумать, что популярная газета кипит страстями, а «Труды ассирийской археологии» отличаются миролюбием и кротостью. На самом деле все наоборот. Газета стала холодной, фальшивой, полной штампов, а ученый журнал полон огня, нетерпимости и азарта. Херн просто терял самообладание при мысли о нелепой выдумке профессора Пула, утверждавшего, что сандалия существовала до хеттов. Он преследовал противника, вооружившись если не метелкой, то пером, острым, как пика, и тратил на этот неведомый спор истинное красноречие, безупречную логику и небывалый пыл, которые так и останутся скрытыми от мира. Когда он открывал новый факт, с блеском опровергал ошибку или подмечал противоречие, он и на дюйм не приближался к славе, но обретал то, что редко обретают знаменитости. Он был счастлив.

Вообще же родился он в семье бедного священника, в Оксфорде, умудрился сохранить нелюдимость не из отвращения к людям, а из любви к одиночеству, и упорно упражнял не только ум, но и тело, хотя его излюбленные виды спорта не требовали общения, (ходьба и плавание), или отличались старомодностью

(фехтование). В книгах он разбирался превосходно и, поскольку ему пришлось зарабатывать себе на жизнь, с радостью согласился смотреть за прекрасной, большой библиотекой, собранной прежними владельцами Сивудского аббатства. Единственный его отдых обернулся тяжким трудом — он поехал на раскопки хеттского города в Аравии; и в мечтах снова и снова возвращался к этим дням.

Он стоял у открытого окна, выходившего на лужайку, и, засунув руки в карманы, рассеянно глядел вдаль, когда зеленую стройность сада нарушили три фигуры, две из которых казались странными, если не страшными. Их можно было принять за нарядные привидения. Даже менее опытный специалист заметил бы, что костюм их — не хеттский, хотя почти такой же нелепый. Только третья фигура, в светлом костюме, успокаивала своей современностью.

— Ах, мистер Херн, — вежливо, но и доверительно сказала дама в рогатом уборе и узком голубом платье с висячими рукавами, — окажите нам услугу! Мы в ужасном затруднении.

Глаза библиотекаря изменили фокус, словно он вставил в них другие линзы. Теперь он глядел не вдаль, а сюда, на первый план картины, всецело

заполненный удивительной дамой. Вероятно, это произвело на него странное действие — он ненадолго онемел, а потом сказал гораздо мягче, чем можно было ожидать:

— Все, что вам угодно…

— Только сыграйте маленькую роль, — попросила дама. — Даже стыдно вам такую предлагать, но все отказываются, а нам жалко бросать пьесу.

— Что это за пьеса? — спросил он.

— Так, чепуха, — сказала она непринужденно. — Называется «Трубадур Блондель», про Ричарда Львиное Сердце. Серенады, принцессы, замки… ну, сами знаете. Нам нужен второй трубадур, который ходит за Блонделем и разговаривает. То есть, он слушает, говорит Блондель. Вы это быстро выучите.

— Он еще бренчит на такой гитаре, — подбодрил его Мэррел. — Вроде средневекового банджо.

— Нам нужен, — серьезно сказал Арчер, — богатый романтический фон. Для этого и написан второй трубадур. Как в «Лесных любовниках»[14] — мечты о прошлом, о странствующих рыцарях, об отшельниках…

— Не очень связный рассказ, но вы поймете, —

14 notes: 14

«Лесные любовники» (1898) — повесть английского писателя М.-Г. Хьюлетта (1861—1923).

сказал Мэррел. — Будьте фоном, мистер Херн!

Длинное лицо библиотекаря стало скорбным.

— Мне очень жаль, — сказал он. — Я бы так хотел вам помочь. Но это не мой период.

Все озадаченно взглянули на него, но он продолжал, словно думал вслух:

— Гэртон Роджерс, вот кто вам нужен. Подошел бы и Флойд, но он занимается, собственно, *Четвертым* Крестовым походом[15]. Да, лучше всего обратитесь к Роджерсу из Балиоля[16].

— Я его немного знаю, — сказал Мэррел, глядя на Херна и криво улыбаясь. — Слушал его лекции.

— Великолепно! — обрадовался библиотекарь. — Чего же лучше?

— Да, я его знаю, — серьезно сказал Мэррел. — Ему еще нет семидесяти трех, он совершенно лысый и такой толстый, что еле ходит.

Дама невежливо фыркнула.

— Господи! — сказала она. — Тащить его из Оксфорда, чтобы так одеть!.. — И она показала на

---

15 notes: 15

Четвертый крестовый поход — организован в 1199 г. папой Иннокентием III, увенчался захватом Константинополя (1204).

16 notes: 16

Балиоль — один из Оксфордских колледжей, основанный вдовою Джона Балиоля (? — 1290) — регента Шотландии в годы несовершеннолетия короля Александра III.

ноги мистера Арчера, относящиеся к довольно неопределенной эпохе.

— Только он знает этот период, — сказал библиотекарь, качая головой. — А что до Оксфорда, другого специалиста пришлось бы везти из Парижа. Есть человека два во Франции и один в Германии. В Англии равного ему историка нет.

— Ну что вы!.. — возразил Арчер. — Бэннок самый знаменитый исторический писатель со времен Маколея[17]. Его весь мир знает.

— Он пишет книги, — с некоторым недовольством заметил библиотекарь. — Нет, вам подходит только Гэртон Роджерс.

Дама в рогатом уборе потеряла терпение.

— О, Господи! — воскликнула она. — Да это всего часа на два!

— За это время можно наделать много ошибок, — строго сказал библиотекарь. — Чтобы целых два часа воссоздавать эпоху, нужно поработать гораздо больше, чем вы думаете. Если бы это был мой период…

— Нам нужен ученый, кто же подойдет лучше вас? — победоносно, хотя и не вполне логично спросила дама.

---

17 notes: 17

Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк, публицист, литератор и политический деятель.

Херн печально посмотрел на нее, перевел взгляд на горизонт и вздохнул.

— Вы не понимаете, — тихо сказал он. — Эпоха, которую человек изучает, — это его жизнь. Надо жить в средневековой росписи и резьбе, чтобы пройти по комнате как средневековый человек. В своей эпохе я все это знаю. Мне говорят, что жрецы и боги на хеттских барельефах кажутся деревянными. А я могу по деревянным позам угадать, какие у них были пляски. Иногда мне кажется, что я слышу их музыку.

Тишина впервые прервала бряцание спора; и ученый библиотекарь как дурак уставился в пустоту. Потом он снова заговорил:

— Если бы я попытался изобразить эпоху, в которую не вложил душу, меня бы тут же поймали. Я бы все путал. Я бы неправильно играл на гитаре, о которой вы говорили. Всякий увидел бы, что я двигаюсь не так, как двигались в конце двенадцатого века. Всякий сразу сказал бы: «Это хеттский жест».

— Да, — выговорил Мэррел, глядя на него, — именно это все бы и сказали.

Он глядел на библиотекаря с искренним восторгом, но убеждался все больше в серьезности происходящего, ибо видел на лице Херна ту хит-

роватую тонкость, которая свидетельствует о простоте души.

— Да бросьте вы! — взорвался Арчер, словно стряхивая чары. — Это же просто пьеса! Я свою роль выучил, а она куда больше вашей.

— Вы давно ее учите, — не сдался Херн. — И ее, и всю пьесу. Вы много думали о трубадурах, жили в той эпохе. Сами видите, я в ней не жил. Непременно что-нибудь да упустишь… пропустишь, ошибешься, сделаешь неверно. Я не люблю спорить с теми, кто изучил предмет, а вы его изучили.

Он глядел на красивое, но озадаченное лицо дамы, а за ней, в тени, Арчер всем своим видом выражал насмешку и отчаяние. Вдруг библиотекарь утратил отрешенную неподвижность, словно проснулся.

— Конечно, я вам что-нибудь подыщу, — сказал он, поворачиваясь к полкам. — Там, наверху, есть прекрасные французские работы.

Библиотека была очень высокой, потолок ее — сводчатым, как в храме. Вполне возможно, здесь и был когда-то храм или хотя бы часовня, ибо помещалась она в крыле прежнего, настоящего аббатства. Верхняя полка казалась скорее краем пропасти, и влезть на нее можно было лишь по

длинной лестнице, стоявшей тут же. Библиотекарь во внезапном порыве очутился наверху раньше, чем кто-нибудь успел его удержать, и принялся копаться в пыльных книгах, уменьшенных расстоянием. Он вынул большой том из ряда томов и, догадавшись, что на весу читать неудобно, занял его место, словно новый ценный фолиант. Под сводами было темно, но там висела лампочка, и он ее спокойно включил. Наступила тишина. Он сидел на далеком насесте, свесив длинные ноги, и лицо его было скрыто кожаной стеной фолианта.

— Спятил, — тихо сказал Арчер. — Тронулся, а? Про нас он забыл. Уберите лестницу, он и не заметит. Вот вам розыгрыш в вашем вкусе, Мартышка.

— Нет, спасибо, — ответил Мэррел. — Над ним мы смеяться не будем, если не возражаете.

— А что такого? — удивился Арчер. — Вы же убрали лестницу, когда премьер снимал покрывало со статуи. Он проторчал там три часа.

— Это другое дело, — мрачно сказал Мэррел, но не объяснил, в чем разница. Быть может, он и не знал, разве что премьер приходился ему двоюродным братом и сам напросился на издевательства, занявшись политикой. Во всяком случае, он раз-

ницу чувствовал и, когда резвый Арчер взялся было за лестницу, одернул его почти с яростью.

Но тут знакомый голос позвал его из сада. Он обернулся и увидел в раме окна темный силуэт Оливии, дышащей ожиданием и даже нетерпением.

— Оставьте эту лестницу, — поспешно сказал он, оборачиваясь на ходу, — или я…

— Да? — вызывающе спросил Арчер.

— …или я опущусь до того, что он назвал бы хеттским жестом, — сказал Мэррел и поспешил к Оливии. Розамунда уже подошла к ней и заговорила, ибо она была чем-то взволнована. Арчер остался наедине с отрешенным библиотекарем и заманчивой лестницей. Он почувствовал то, что чувствует подзадоренный школьник. Трусом он не был, тщеславным был. Осторожно отцепил он лестницу от полок, не смахнув ни пылинки на книгах и не задев ни волоска на голове ученого, читавшего толстый том; потом тихо вынес ее в сад и прислонил к стене; потом стал смотреть, где остальные. Они стояли поодаль и беседовали так оживленно, что не заметили преступления, как и сама жертва. Беседовали они о другом; и предмету их беседы выпало положить начало странной повести, обязанной существованием

тому, что нескольких человек не оказалось там, где надо, а в библиотеке не оказалось лестницы.

Глава 4. ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЖОНА БРЕЙНТРИ

Человек, прозванный Мартышкой, быстро шел по шелестящей траве к одинокому памятнику или, верней, обломку, торчащему посреди лужайки. Собственно, это был большой кусок, отвалившийся от готических ворот старого аббатства и водруженный на более современный пьедестал. Быть может, лет сто назад кто-то, в порыве романтизма, подумал, что должное количество мха и лунного света обратят все это со временем в вальтерскоттовский вид. При ближайшем рассмотрении (которого он еще не дождался) в обломке можно было угадать довольно гнусное чудище, глядящее вверх выпученными глазами. Вероятно, то был умирающий дракон, а над ним торчали какие-то столбики, по-видимому — человечьи ноги. Однако Дугласа Мэррела влекла к нему не тоска по старине, а нетерпеливая дама, выманившая его из библиотеки. Шагая через сад, он видел, что Оливия Эшли стоит у каменного изваяния, но не так неподвижна, как оно. Наверное, она одна вообще глядела

на этот тщательно вытесанный обломок, хотя и признавала, что он уродлив и загадочен. Однако сейчас она на него не глядела.

— Окажите мне услугу, — быстро сказала она прежде, чем он промолвил слово. И не совсем последовательно прибавила: — Не вижу, в чем тут услуга. Мне это безразлично. Это для других… для общего блага.

— Я понимаю, — серьезно и немного ехидно сказал Мэррел.

— Потом, он ваш друг… ну, этот Брейнтри. — Тон ее снова изменился, она повысила голос. — Все вы виноваты! Это вы его привели.

— А в чем дело? — кротко спросил ее собеседник.

— Терпеть его не могу, — сказала Оливия. — Он вел себя гнусно, грубо, и…

— Позвольте! — воскликнул Мэррел совсем другим голосом.

— Нет, нет, — перебила его Оливия, — я не о том. Не надо с ним драться, он грубил в другом смысле. Просто он упрямый, наглый, нетерпимый, не признает законов, говорит всякие длинные слова из этих жутких иностранных брошюр… ну, всякую ерунду про координированный синдикализм и что-то такое, пролетарское…

— Да, слова эти не для женских уст, — покачал головой Мэррел. — Но я не совсем понимаю, о чем вы. Мне не надо с ним драться за то, что он поминает координированный синдикализм, хотя, по-моему, это прекрасный повод для драки. Чего же вы от меня хотите?

— Я хочу, чтобы его поставили на место, — мстительно и мрачно сказала дама. — Ему нужно вбить в голову, что он ничего не знает. Он же никогда не бывал с образованными людьми. Это видно даже по его одежде, по его походке. Я бы еще его вынесла, если бы он только не задирал эту щетинистую черную бороду. Без бороды он, наверное, похож на человека.

— Значит, — спросил Мэррел, — пойти и побрить его?

— Какая чушь! — нетерпеливо вскричала она. — Мне нужно, чтобы он хоть на минуту пожалел, что не бреется. Мне нужно показать ему, что такое образованный человек. Его бы это очень… очень исправило.

— Значит, определить его в школу? — спросил Мэррел.

— Никто ничему не учится в школе, — отвечала она. — Учатся в мире, людей учит жизнь. Пусть он увидит, что на свете есть вещи поважнее его

фантазий. Пусть послушает, как говорят о музыке, об архитектуре, об истории, обо всем, чем живут поистине ученые люди. Конечно, огрубеешь на заплеванных улицах, в шумных кабаках, с теми, кто еще темнее его! Среди людей образованных он почувствует себя дураком, на это у него хватит ума.

— Вам понадобился истинно-ученый, утонченно культурный человек, и вы, естественно, подумали обо мне, — одобрительно заметил Мэррел. — Вы хотите, чтобы я привязал его к креслу и угощал чаем, Толстым, Тэппером[18] или кто там в моде. Дорогая моя Оливия, он не придет.

— Я об этом думала, — быстро сказала она, — потому я и говорю об услуге… ему, конечно, и всем вообще. Уговорите лорда Сивуда, чтобы он его позвал по делу, побеседовать о забастовке. Только для этого он и придет, а потом мы его познакомим с людьми, которые выше его… и он подрастет, вырастет. Это очень важно, Дуглас. Он имеет огромное влияние на этих рабочих. Если мы не откроем ему глаза, они… ну, он ведь

---

18 notes: 18

Толстой, Тэппер. — Л. Н. Толстому Честертон посвятил эссе «Толстой и культ опрощения» (сб. «Всякая всячина») и др.; Тэппер Мартин Фарквар (1810—1889) — английский писатель, поэт и моралист, автор дидактического трактата, написанного белым стихом и выходившего по частям в 1838—1867 гг.

оратор.

— Я знал, что вы гордая аристократка, — сказал он, разглядывая тоненькую, чопорную даму, — но я не знал, что вы дипломат. Что ж, помогу вам в ваших кознях, если вы ручаетесь, что это — для его же блага.

— Конечно, для его блага, — доверчиво сказала она. — Иначе я бы об этом не подумала.

— Вот именно, — сказал Мэррел и пошел к дому медленней, чем шел от него. Но лестницу он не увидел, иначе наше повествование было бы совсем иным.

К делу он приступил сразу же, со всей серьезностью, и — что очень для него характерно — серьезность эта перекрыла простое и глубокое наслаждение шуткой. Быть может, роль играло и то, над кем он собрался шутить. Пройдя через все крыло насквозь, Мэррел достиг кабинета, где бывали немногие и трудился сам лорд Сивуд. Там он пробыл час и улыбался, когда оттуда вышел.

Вот как получилось, что в тот же день не ведавшего об этих кознях Брейнтри (после важной и загадочно пустой беседы с могущественным капиталистом) вытолкнули в гостиную, полную знатных и ученых людей, призванных завершить его воспитание. Он был растерян, борода его и во-

лосы торчали во все стороны, ему чего-то явно не хватало, когда он стоял, нахмуренный, сутулый и угрюмый, и угрюмость его не смягчалась тем, что он о ней не знал. Он не был уродливым, но сейчас и привлекательным не был. А главное, он был неприветлив, и это он знал. Справедливости ради скажем, что приветливость проявили другие, быть может — даже излишнюю. Особенно сердечным оказался лысый, рыхлый, крупный гость, чье дружелюбие было тем громче, чем доверительней он говорил. Он немного напоминал сказочного властителя, чей шепот оглушительней крика.

— Нам нужно, — сказал он, мягко ударяя кулаком по другой ладони, — нам нужно, чтобы люди разбирались в промышленности, иначе в ней мира не добьешься. Не слушайте реакционеров. Не верьте тому, кто скажет, что рабочих не надо учить. Массы учить надо, и прежде всего их надо учить экономике. Если мы вобьем им в голову простейшие экономические понятия, прекратятся эти склоки, которые губят торговлю и угрожают порядку. Что бы мы ни думали, все мы от них страдаем. К какой бы партии мы ни принадлежали, мы — против них. Это не партийное дело, это выше всех партий.

— А если я скажу, что нужен эффективный спрос, разве это не выше всяких партий? — спросил Брейнтри.

Толстый гость быстро и немного испуганно взглянул на него. Потом сказал:

— Конечно… да, конечно…

Потом он замолчал, потом оживленно заговорил о погоде, потом уплыл молчаливым левиафаном[19] в другие моря. Судя по лысине и многозначительному пенсне, он мог быть профессором политической экономии. Судя по разговору, он им не был. Вероятно, первый шаг Брейнтри на поприще культуры пользы не принес. Но сам он, по своей мрачности, решил — верно ли, неверно, — что поборник экономического просвещения масс не имеет ни малейшего представления о том, что такое «эффективный спрос».

Однако этот провал был не в счет, ибо лысый гость (оказавшийся сэром Говардом Прайсом, владельцем мыловаренных заводов) нечаянно влез в ту узкую область, в которой синдикалист разбирался. В гостиной были люди, отнюдь не расположенные обсуждать экономические проблемы. Стоит ли говорить, что среди них нахо-

---

19 notes: 19

Левиафан — библейское морское чудовище.

дился и Элмерик Уистер? Нет, говорить не стоит, ибо там, где двадцать или тридцать соберутся во имя снобизма[20], Элмерик Уистер посреди них.

Человек этот был неподвижной точкой, вокруг которой вращались бесчисленные и почти одинаковые круги социальной суеты. Он умудрялся пить чай во многих домах сразу, и некоторым казалось, что он и не человек, собственно, а синдикат, целый отряд Уистеров, рассылаемых по гостиным, худых, высоких, элегантных, с запавшими глазами, глубоким голосом и редкими, но довольно длинными волосами. Есть Уистеры и в провинциальных салонах; по-видимому — синдикат посылает их в командировки.

Считалось, что Уистер прекрасно разбирается в живописи, особенно — в проблеме прочности красок. Он был из тех, кто помнит Росетти[21] и мо-

---

20 notes: 20

…где двадцать или тридцать соберутся во имя снобизма. — Ср. «где двое или трое соберутся в Имя Мое…» Мтф., 18, 20.

21 notes: 21

Росетти Данте Габриэль (1828—1882) — английский поэт и живописец, глава «Братства прерафаэлитов», чья рыцарская символика и цветовая гамма оказали влияние на Честертона.

жет рассказать неизвестный анекдот о Бердсли[22]. Когда его познакомили с синдикалистом, он сразу подметил его багровый галстук и вывел отсюда, что тот в искусстве не разбирается. Тем самым себя он почувствовал еще ученей, чем обычно. Его запавшие глаза укоризненно перебегали с галстука на стену, где висел не то Филиппо Липпи[23], не то другой ранний итальянец, — в Сивудском аббатстве были не только прекрасные книги, но и прекрасные картины. По какой-то ассоциации идей Уистер вспомнил жалобу Оливии Эшли на то, что теперь утрачен секрет алой краски, которой нарисованы крылья какого-то ангела. Подумать только, выцветает «Тайная вечеря»…

Брейнтри, плохо разбиравшийся в живописи и вообще не разбиравшийся в красках, вежливо кивал. Невежество его или равнодушие дополнило впечатление, основанное на галстуке. Окончательно убедившись, что говорит с полным профаном, знаток, в порыве снисходительности,

---

22 notes: 22

Бердсли Обри Винсент (1872—1898) — английский график, один из родоначальников графики стиля «модерн». «Хрупкие девушки» с гравюр Бердсли — прототипы «хрупкой девушки с тонким лицом» Оливии Эшли из «Возвращения Дон Кихота».

23 notes: 23

Липпи Филиппо (1406—1469) — итальянский художник эпохи Возрождения.

разразился лекцией.

— Рескин прекрасно пишет об этом, — сказал он. — Рескину[24] вы можете верить… начните с него хотя бы. Кроме Пейтера[25], конечно, у нас нет такого авторитетного критика. Да, демократия не жалует авторитеты. Боюсь, мистер Брейнтри, что она не жалует и искусства.

— Что ж, если у нас будет демократия, мы как-нибудь разберемся, — сказал Брейнтри.

Уистер покачал головой.

— Мне кажется, — сказал он, — у нас ее достаточно, чтобы народ утратил уважение к великим мастерам.

В эту минуту рыжеволосая Розамунда провела к ним сквозь толпу молодого человека с таким же простым и выразительным лицом, как у нее. На этом их сходство кончалось, ибо красивым он не был, волосы стриг ежиком и носил усы, напоминающие зубную щетку. Но глаза у него были ясные, как у всех смелых мужчин, а держался

---

24 notes: 24

Рескин Джон (1819—1900) — английский писатель, искусствовед, социолог и экономист, автор пятитомной работы «Современные художники». К сборнику стихотворений Рескина Честертон написал предисловие, вошедшее в сборник «Пригоршня писателей».

25 notes: 25

Пейтер Уолтер (1839—1894) — английский писатель, критик, профессор Оксфордского университета, чья книга «Очерки по истории Ренессанса» (1873, рус. перев. — 1910) стала одним из манифестов эстетизма.

он приветливо и просто. Он владел небольшим поместьем в этих краях, звался Хэнбери и много путешествовал. Представив его, Розамунда сказала: «Наверное, мы вам помешали», — и не ошиблась.

— Я говорил, — небрежно, хотя и не без важности сказал Уистер, — что мы, боюсь, опустились до демократии, и люди измельчали. Нет больше великих викторианцев.

— Да, конечно, — довольно механически откликнулась дама.

— Нет больше великанов, — подвел итоги Уистер.

— Наверное, на это жаловались в Корнуолле, — заметил Брейнтри, — когда там поработал известный Джек[26].

— Когда вы прочитаете викторианцев, — брезгливо сказал Уистер, — вы поймете, о каких великанах я говорю.

— Не хотите же вы, чтоб великих людей убили, — поддержала Розамунда.

— А что ж, это бы неплохо, — сказал Брейн-

---

26 notes: 26

...в Корнуолле... поработал известный Джек. — Джек из Корнуолла — персонаж английского фольклора; освободил Уэллс от злых великанов. Известен русскому читателю по пересказам К. И. Чуковского.

три. — Теннисона[27] надо убить за «Королеву мая», Браунинга[28] — за одну немыслимую рифму, Карлейля[29] — за все, Спенсера — за «Человека против государства», Диккенса — за то, что сам он поздно убил маленькую Нелл, Рескина — за то, что он сказал: «человеку надо не больше свободы, чем солнцу», Гладстона — за то, что он предал Парнелла[30], Теккерея[31] — за то…

— Пощадите! — прервала его дама, весело смеясь. — Хватит! Сколько же вы читали…

Уистер почему-то обиделся, а может быть — разозлился.

— Если хотите знать, — сказал он, — так рассуждает чернь, ненавидящая всякое превосходство. Она стремится унизить тех, кто выше ее. Потому ваши чертовы профсоюзы не хотят, чтобы хоро-

---

27 notes: 27

Теннисон Альфред (1809—1892) — поэт-викторианец, продолжавший традиции «озерной школы». Поэт-лауреат с 1850 г. Честертон нередко ссылался на его стихотворный цикл «Королевские идиллии» (1859) — стилизованный пересказ легенд о короле Артуре. «Королева мая» — поэма Теннисона (1853). В соавторстве с Р. Гариетом Честертон написал эссе о Теннисоне.

28 notes: 28

Браунинг Роберт (1812—1889) — английский поэт, творчеству которого Честертон посвятил свою первую биографическую и критическую книгу.

29 notes: 29

Карлейль Томас (1795—1881) — английский писатель, философ и историк, автор фундаментальной 3-х томной «Истории французской

революции» и блистательных сатирических нравоописаний викторианской Англии. В 1903 г. в соавторстве с Дж. Ходдер Уильямсом Честертон написал очерк о Карлейле.

30 notes: 30

Парнелл Чарлз Стюарт (1846—1891) — политический деятель Ирландии, лидер освободительного движения.

31 notes: 31

Теккерей Уильям Мейкпис (1811—1863) — английский писатель; Честертон посвятил ему главу в книге «Викторианский век в литературе» и написал предисловие к его «Книге снобов».

шему рабочему платили больше, чем плохому.

— Экономисты об этом писали, — сдержанно сказал Брейнтри. — Один авторитетный специалист отметил, что лучшая работа и сейчас оплачивается не выше другой.

— Наверное, Карл Маркс, — сердито сказал знаток.

— Нет, Джон Рескин, — отвечал синдикалист, — один из ваших великанов. Правда, мысль эта, и самое название книги, принадлежит не ему, а Христу[32], а Он, к сожалению, не викторианец.

Коренастый человек по фамилии Хэнбери почувствовал, что беседа коснулась неприличной в обществе темы, и ненавязчиво вмешался.

— Вы из угольного района, мистер Брейнтри? — спросил он.

Брейнтри довольно мрачно кивнул.

— Говорят, — продолжал его новый собеседник, — там теперь неспокойно?

— Наоборот, — отвечал Брейнтри, — там очень спокойно.

Хэнбери на минуту нахмурился и быстро спро-

---

32 notes: 32

…мысль …принадлежит Христу… — См. «притчу о работниках на винограднике» («…о динариях»): Христос дал по динарию и тем, кто рано вышел работать, и тем, кто проработал всего один час. Мтф., 20, 1 — 16.

сил:

— Разве забастовка кончилась?

— Нет, она в полном разгаре, — угрюмо сказал Брейнтри, — так что царит покой.

— Что вы хотите сказать? — воскликнула здравомыслящая дама, которой вскоре предстояло стать средневековой принцессой.

— То, что сказал, — коротко ответил он. — На шахтах царит покой. По-вашему, забастовка — это бомбы и взрывы. На самом деле это отдых.

— Да это же парадокс! — воскликнула Розамунда так радостно, словно началась новая игра, и теперь ее вечер удастся на славу.

— По-моему, это избитая истина, то есть — просто правда, — возразил Брейнтри. — Во время забастовки рабочие отдыхают, а, надо вам сказать, они к этому не привыкли.

— Разве мы не можем сказать, — глубоким голосом спросил Уистер, — что труд — лучший отдых?

— Можете, — сухо отвечал Брейнтри. — У нас ведь свобода, особенно — для вас. Можете даже сказать, что лучший труд — это отдых. Тогда вам очень понравится забастовка.

Хозяйка смотрела на него по-новому — пристально и не совсем спокойно. Так люди, думаю-

щие медленно, узнают то, что нужно усвоить, а быть может — и уважать. Хотя (или потому что) она выросла в богатстве и роскоши, она была проста душой и ничуть не стеснялась прямо глядеть на ближних.

— Вам не кажется, — наконец спросила она, — что мы спорим о словах?

— Нет, не кажется, — отвечал он. — Мы стоим по обе стороны бездны. Маленькое слово разделяет человечество надвое. Если вас действительно это трогает, разрешите дать вам совет. Когда вы хотите, чтобы мы думали, что вы не одобряете забастовки, но понимаете, в чем дело, говорите что угодно, только не это. Говорите, что в шахтеров вселился бес; говорите, что они анархисты и предатели; говорите, что они богохульники и безумцы. Но не говорите, что у них неспокойно. Это слово выдает то, что кроется в вашем сердце. Вещь эта — очень старая, имя ей — рабство.

— Поразительно, — сказал Уистер.

— Правда? — сказала Розамунда. — Потрясающе!

— Нет, это очень просто, — сказал синдикалист. — Представьте, что не в шахте, а в погребе работает человек. Представьте, что он целый день рубит уголь, и вы его слышите. Представьте,

что вы платите ему; и честно думаете, что ему этого хватает. Вы тут курите или играете на рояле и слышите его, пока не наступает тишина. Быть может, ей и следовало наступить… быть может, не следовало… но неужели вы не видите, никак не видите, что значат ваши слова: «Мир, мир, смятенный дух!»[33]?

— Очень рад, что вы читали Шекспира, — любезно сказал Уистер.

Но Брейнтри этого не заметил.

— Непрерывный стук в подвале на минуту прекратился, — говорил он. — Что же скажете вы человеку, который там, во тьме? Вы не скажете: «Спасибо, ты работал хорошо». Вы не скажете: «Негодяй, ты работал плохо». Вы скажете: «Успокойся. Продолжай делать то, что тебе положено. Не прерывай мерного движения, ведь оно для тебя — как дыханье, как сон, твоя вторая природа. „Продолжай“, как выразился Бог у Беллока[34]. Не надо беспокойства».

Пока он говорил — пылко, но не яростно, —

---

33 notes: 33

«Мир, мир, смятенный дух!» — «Гамлет», акт I, сцена 4. Пер. М. Лозинского.

34 notes: 34

Беллок Джозеф Хилэри (1870—1953) — английский поэт, писатель, историк. Ближайший друг Честертона, католик, Беллок оказал значительное влияние на становление взглядов писателя.

он все яснее замечал, что новые и новые лица обращаются к нему. Взгляды не были пристальными или невежливыми, но казалось, что толпа медленно идет на него. Он видел, что Мэррел с печальной улыбкой глядит на него поверх сигареты, а Джулиан Арчер бросает настороженные взгляды, словно боится, как бы он не поджег замка. Он видел оживленные и наполовину серьезные лица разных дам, всегда ожидающих происшествия. У тех, кто стоял поближе, лица были смутными и странными; но в углу, подальше, очень отчетливо выделялось бледное и возбужденное лицо худенькой художницы, мисс Эшли. Она за ним наблюдала.

— Человек в подвале вам чужой, — говорил он. — Он вошел туда, чтобы сразиться с черной глыбой, как сражаются с диким зверем или со стихией. Рубить уголь в подвале — трудно. Рубить уголь в шахте — опасно. Дикий зверь может убить того, кто войдет в его берлогу. Битва с этим зверем не дает ни отдыха, ни покоя. Бьющийся с ним борется с хаосом, как путешественник, прокладывающий путь в тропическом лесу.

— Мистер Хэнбери, — сказала, улыбаясь, Розамунда, — только что оттуда вернулся.

— Прекрасно, — сказал Брейнтри. — Но если он

больше туда не поедет, вы не скажете, что среди путешественников неспокойно.

— Молодец! — весело сказал Хэнбери. — Здорово это вы.

— Разве вы не видите, — продолжал Брейнтри, — что мы для вас — механизм, и вы замечаете нас лишь тогда, когда часы остановятся?

— Кажется, я вас понимаю, — сказала Розамунда, — и не забуду этого.

И впрямь, она не была особенно умной, но принадлежала к тем редким и ценным людям, которые никогда не забывают того, что они усвоили.

Глава 5. ВТОРОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЖОНА БРЕЙНТРИ

Дуглас Мэррел знал свет. Точнее, он знал свой круг, а тяга к дурному обществу не давала ему подумать, что он знает мир. Тем самым он хорошо понимал, что случилось. Брейнтри загнали сюда, чтобы он смутился и замолчал; однако именно здесь он разговорился. Быть может, к нему отнеслись как к чудищу или к дрессированному зверю, — пресыщенные люди тянутся ко всему новому; но чудище имело успех. Брейнтри говорил много, но был не наглым, а всего лишь убежденным. Мэррел знал свет; и знал, что те, кто много говорит, редко бывают наглыми, ибо не думают о себе.

Сейчас Мэррел знал, что будет. Глупые уже сказали свое слово — те, кто непременно спросит у исследователя полярных стран, понравился ли ему Северный полюс, и рады бы спросить у негра, каково быть черным. Старый делец неизбежно должен был заговорить о политической экономии со всяким, кто покажется ему политиком. Старый осел, то есть Уистер, неизбежно должен

был прочесть лекцию о великих викторианцах. Самоучка легко показал им, что он ученей их.

Теперь начиналась следующая фаза. Брейнтри заметили люди другого рода: светские интеллектуалы, не говорящие о делах, беседующие с негром о погоде, завели с синдикалистом спор о синдикализме. После его бурной речи послышался мерный гул, и тихоголосые джентльмены стали задавать ему более связные вопросы, нередко находя более серьезные возражения. Мэррел встряхнулся от удивления, услышав низкий, гортанный голос лорда Идена, надежно хранившего столько дипломатических и парламентских тайн. Он почти никогда не говорил, но сейчас спросил Брейнтри:

— Вам не кажется, что древние кое в чем правы — Аристотель и прочие? Быть может, должен существовать класс людей, работающих на нас в подвале?

Черные глаза его собеседника загорелись не гневом, а радостью — он понял, что его поняли.

— Вот это дело! — сказал он. Многим показалось, что слова его столь же наглы, как если бы он сказал премьеру: «Ну и чушь!» Но старый политик был умен и понял, что его похвалили.

— Если вы примете эту точку зрения, — про-

должал Брейнтри, — вы не вправе сетовать на то, что люди, которых вы от себя отделяете, с вами не считаются. Если действительно есть такой класс, стоит ли дивиться, что он обладает классовым сознанием?

— Мне кажется, и другие имеют право на классовое сознание, — с улыбкой сказал Иден.

— Вот именно, — заметил Уистер самым снисходительным тоном. — Аристократ, благородный человек, как говорит Аристотель…

— Позвольте, — с некоторым раздражением прервал Брейнтри. — Я читал Аристотеля в дешевых переводах, но я его читал. А вы все долго учите греческий и не берете в руки греческой книги. Насколько я понимаю, у Аристотеля благородный человек — довольно наглый тип. Но нигде не сказано, что он — аристократ в вашем смысле слова.

— Совершенно верно, — сказал Иден. — Но самые демократические греки признавали рабство. По-моему, можно привести гораздо больше доводов в защиту рабства, чем в защиту аристократии.

Синдикалист почти радостно закивал. Элмерик Уистер растерялся.

— Вот я и говорю, — сказал Брейнтри. — Если

вы признаете рабство, вы не можете помешать рабам держаться друг за друга и думать иначе, чем вы. Как воззовете вы к их гражданским чувствам, если они — не граждане? Я — один из них. Я — из подвала. Я представляю здесь мрачных, неотесанных, неприятных людей. Да, я из них, и сам Аристотель не отрицал бы, что я вправе защищать их.

— И вы их защищаете прекрасно, — сказал Иден.

Мэррел мрачно улыбнулся. Мода разгулялась вовсю. Он узнавал все признаки, сопровождающие перемену общественной погоды, обновившей атмосферу вокруг синдикалиста. Он даже слышал знакомые звуки, наносящие последний штрих — воркующий голос леди Бул: «… в любой четверг… будем так рады…»

По-прежнему улыбаясь, Мэррел повернулся и направился в угол, где сидела Оливия. Он видел, что губы у нее сжаты, а темные глаза опасно блестят; и сказал ей с участием:

— Боюсь, что наша шутка вышла боком. Мы думали, он медведь, а он оказался львом.

Она подняла голову и вдруг улыбнулась сияющей улыбкой.

— Он перещелкал их как кегли! — воскликнула

она. — Он даже Идена не испугался.

Мэррел глядел на нее, вниз, и на его печальном лице отражалось смущение.

— Удивительно, — сказал он. — Вы как будто гордитесь вашим протеже.

Поглядев еще на ее неисповедимую улыбку, он добавил:

— Да, женщин я не понимаю. Никто их не понимает. Видимо, опасно и пытаться. Но если вы разрешите мне высказать догадку, дорогая Оливия, я замечу, что вы не совсем честны.

И он удалился, как всегда — добродушно и невесело. Гости уже расходились. Когда ушел последний, Дуглас Мэррел помедлил у выхода в сад и пустил последнюю парфянскую стрелу.

— Я не понимаю женщин, — сказал он, — но мужчин я немного понимаю. Теперь вашим ученым медведем займусь я.

Усадьба лорда Сивуда была прекрасна и казалась отрезанной от мира; однако она отстояла всего миль на пять от одного из черных и дымных провинциальных городов, внезапно выросших среди холмов и долин, когда карта Англии покрылась заплатками угольных копей. Этот город, сохранивший имя Милдайка, уже достаточно почернел, но еще не очень разросся. Связан он

был не столько с углем, сколько с побочными продуктами, вроде дегтя; в нем было множество фабрик, обрабатывающих этот ценный продукт. Джон Брейнтри жил на одной из самых бедных улиц и считал это неудобным, но единственно уместным, ибо его политическая деятельность главным образом в том и состояла, чтобы связать профессиональный союз шахтеров как таковых с маленькими объединениями, возникшими в побочных отраслях. К этой улице и повернулся он лицом, повернувшись спиной к большой усадьбе, в которой так странно и так бесцельно побывал. Поскольку Иден и Уистер и прочие шишки (как он их назвал бы) укатили в собственных машинах, он особенно гордился тем, что направился сквозь толпу к смешному сельскому омнибусу, совершавшему рейс между усадьбой и городом. Он влез на сиденье и с удивлением увидел, что Дуглас Мэррел лезет вслед за ним.

— Не поделитесь ли омнибусом? — спросил Мэррел, опускаясь на скамью прямо за единственным пассажиром, ибо никто больше этим транспортом не ехал. Оба они оказались на передних сиденьях, и вечерний ветер подул им в лицо, как только омнибус тронулся. По-видимому, это пробудило Брейнтри от забытья, и он вежливо

кивнул.

— Понимаете, — сказал Мэррел, — хочется мне посмотреть на ваш угольный подвал.

— Вы не хотели бы, чтоб вас там заперли, — довольно хмуро отвечал Брейнтри.

— Да, я предпочел бы винный погреб, — признал Мэррел. — Другой вариант вашей притчи: пустые и праздные кутят наверху, а упорный звук выбиваемых пробок напоминает им, что я неустанно тружусь во тьме… Нет, правда, вы очень верно все сказали, и мне захотелось взглянуть на ваши мрачные трущобы.

Элмерик Уистер и многие другие сочли бы бестактным напоминать о трущобах тому, кто беднее их. Но Мэррел бестактным не был и не ошибался, когда говорил, что немного понимает мужчин. Он знал, как болезненно самолюбивы самые мужественные из них. Он знал, что синдикалист до безумия боится снобизма, и не стал говорить об его успехе в гостиной. Причисляя его к рабам в подвале, он поддерживал его достоинство.

— Тут все больше делают краски, да? — спросил Мэррел, глядя на лес фабричных труб, медленно выраставший из-за горизонта.

— Тут обрабатывают угольные отбросы, — от-

вечал Брейнтри. — Из них делают красители, краски, эмали и тому подобное. Мне кажется, при капитализме побочные продукты важнее основных. Говорят, ваш Сивуд нажил миллионы не столько на угле, сколько на дегте — вроде бы из него делают красную краску, которой красят солдатские куртки.

— А не галстуки социалистов? — укоризненно спросил Мэррел. — Джек, я не верю, что свой вы покрасили кровью знатных. Никак не представлю, что вы только что резали нашу старую знать… Потом, меня учили, что у нее кровь голубая. Вполне возможно, что именно вы — ходячая реклама красильных фабрик. Покупайте наши красные галстуки. Все для синдикалиста. Джон Брейнтри, маститый революционер, пишет: «С тех пор, как я ношу…»

— Никто не знает, Дуглас, откуда что берется, — спокойно сказал Брейнтри. — Это и называется свободой печати. Может быть, мой галстук сделали капиталисты; может быть, ваш соткали людоеды.

— Из миссионерских бакенбардов, — предположил Мэррел. — А вы миссионерствуете у этих рабочих?

— Они трудятся в ужасных условиях, — сказал

Брейнтри. — Особенно бедняги с красильных, они просто гибнут. Мало-мальски стоящих союзов у них нет, и рабочий день слишком велик.

— Да, много работать нелегко, — согласился Мэррел. — Трудно жить на свете… Верно, Билл?

Быть может, Брейнтри немного льстило, что Мэррел зовет его Джеком; но он никак не мог понять, почему он назвал его Биллом. Он чуть было об этом не спросил, когда странные звуки из темноты напомнили ему, что он забыл еще об одном человеке. По-видимому, Уильямом звался кучер, судя по ответному ворчанию, согласный с тем, что рабочий день пролетариата слишком долог.

— Вот именно, Билл, — сказал Мэррел. — Вам-то повезло, особенно сегодня. А Джордж будет в «Драконе»?

— Уж конечно, — медленно выговорил кучер, услаждаясь пренебрежением. — Быть-то он будет, да что с того… — И он замолк, словно посещение «Дракона» под силу даже Джорджу, но утешения в этом мало.

— Он там будет, и мы там будем, — продолжал Мэррел. — Не поминайте старого, Билл, выпейте с нами. Покажите, что не обиделись за чучело. Честное слово, я только просил его подвезти.

— Ну что вы, сэр!.. — заворчал благодушный

Билл в порыве милосердия. — Выпить можно…

— То-то и оно, — сказал Мэррел. — Вот и «Дракон». Надо кому-нибудь туда пойти и разыскать Чарли.

Подбодрив таким образом общественный транспорт, Мэррел скатился с верхушки омнибуса. Упал он на ноги, извернувшись на лету и оттолкнувшись от подножки. Потом он так решительно протиснулся сквозь толпу в ярко освещенный кабак, названный «Зеленым драконом», что спутники его двинулись за ним. Кучер, чье имя было Уильям Понд, собственно, и не упирался; демократический же Брейнтри шел неохотно, всячески показывая, что ему все равно. Он не был ни трезвенником, ни ханжой и с удовольствием выпил бы пива в придорожном кабачке. Однако «Дракон» стоял в предместье промышленного города и не был ни кабачком, ни таверной, ни даже одним из тех жалких заведений, которые зовутся кафе. Это был именно кабак — место, где честно и открыто пьют бедняки. Переступив через порог, Брейнтри понял, что такого он не видел, не слышал, не трогал, не нюхал за все пятнадцать лет, отданные агитации. Здесь было что понюхать и послушать, но далеко не все ему хотелось бы тронуть или попробовать

на вкус. В кабаке было жарко, тесно и очень шумно, ибо говорили все сразу, причем никто не обращал внимания на то, слушают его или нет. Говорили все с большим пылом, но понять он не мог почти ни слова, как если бы посетители «Дракона» ругались по-голландски или по-португальски. Время от времени одно из загадочных выражений вызывало отповедь из-за стойки: «Ну, ты, полегче!..» — и провинившийся, видимо, брал свои слова обратно. Мэррел пошел к стойке, кивая направо и налево, постучал медяками по дереву и спросил чего-то на четверых.

Если в этом шуме и хаосе был центр, находился он там же, — люди более или менее тянулись к человечку, стоявшему как раз у стойки, и не потому, что он говорил, а потому что говорили о нем. Все над ним подшучивали, словно он погода, или военное министерство, или другой признанный объект сатиры. Чаще всего его спрашивали прямо: «Что, скоро женишься, Джордж?», но отпускали замечания и в третьем лице, вроде «Джордж все с девчонками гуляет» или «Джордж совсем в Лондоне пропадет». Брейнтри заметил, что все острили безобидно и добродушно. Более того, сам Джордж ничуть не обижался и не удивлялся тому, что по неведомой причине

стал человеком-мишенью. Был он толстенький, какой-то сонный, стоял полузакрыв глаза и блаженно улыбался, словно нарадоваться не мог этой странной популярности. Фамилия его была Картер, он держал неподалеку зеленную лавочку. Почему именно он, а не кто иной, должен был жениться или пропасть в Лондоне, Брейнтри не понял за два часа и не понял бы за десять лет. Просто он, словно магнит, притягивал все шутки, которые без него болтались бы в воздухе. Говорили, что он тоскует, когда им не занимаются. Брейнтри не разгадал его загадки, но нередко вспоминал о нем много позже, когда при нем говорили о жестокой толпе, потешающейся над чужаками и чудаками.

Тем временем Мэррел снова и снова подходил к стойке и болтал с девицей, сделавшей все, чтобы ее волосы походили на парик. Потом он затеял с кем-то бесконечный спор о том, выиграет ли какая-то лошадь, или какой-то номер, или что-то еще. Спор двигался медленно, ибо собеседники повторяли каждый свое с возрастающим упорством. При этом они были весьма учтивы, но беседе их несколько мешал очень высокий, тощий человек с обвисшими усами, пытавшийся передать дело на рассмотрение Брейнтри.

— Я джентльмена сразу вижу, — говорил он. — А как увижу, так спрошу… так и спрошу, раз он джентльмен…

— Я не джентльмен, — наконец гордо ответил Брейнтри.

Длинный человек ласково склонился над ним, словно успокаивая ребенка.

— Что вы, что вы, сэр, — увещевал он. — Я его сразу вижу… вот вы нам и скажите…

Брейнтри встал и сразу налетел на рослого землекопа, обсыпанного чем-то белым, который вежливо извинился и сплюнул на посыпанный опилками пол.

Ночь была как страшный сон. Джону Брейнтри она казалась бесконечной, бессмысленной и до безумия однообразной. Мэррел угощал кучера в одном кабаке за другим. Выпили они немного, гораздо меньше, чем выпивает в одиночестве склонный к портвейну вельможа или ученый; зато они пили под шум и шутки и спорили без конца в прямом смысле этих слов, ибо никакого конца у таких споров не могло быть. Когда шестой кабак огласился криком: «Пора!» и посетителей вытолкали, а ставни закрыли, неутомимый Мэррел пошел обходом по кофейням, с похвальным намерением как следует протрезветь. Здесь он

ел толстые сандвичи и пил светло-бурый кофе, по-прежнему споря с ближними о лошадях и спорте. Заря занималась над холмами и бахромой фабричных труб, когда Джон Брейнтри вдруг обернулся к приятелю и властно сказал:

— Дуглас, не доигрывайте вашей притчи. Я всегда знал, что вы умны, а теперь я начинаю понимать, как вашей породе удавалось так долго вертеть целой нацией. Но я и сам не очень глуп, я знаю, что вы хотите сказать. Вы не сказали этого сами, за вас сказали сотни других. «Да, Джон Брейнтри, — сказали вы, — ты можешь поладить со знатью, а вот с чернью тебе не поладить. Ты целый час болтал в гостиной о Шекспире и витражах. Потом провел ночь в трущобах. Скажи мне, кто из нас лучше знает народ?»

Мэррел молчал, и Брейнтри заговорил снова:

— Лучшего ответа вы дать не могли, и я на него отвечать не стану. Я мог бы рассказать вам, почему мы чуждаемся таких вещей больше, чем вы. Вам с ними шутки шутить, а мы должны победить их. Но пока я скажу одно: я понял и не обиделся на вас.

— Я знаю, что вы не сердитесь, — отвечал Мэррел. — Наш приятель был неосторожен в выражениях, но он ведь прав, вы — джентльмен.

Что ж, будем надеяться, что это моя последняя шутка.

Однако надежды его не оправдались. Когда он возвращался в дом через сад, он увидел у стены библиотечную лестницу. Он остановился, и его добродушное лицо стало почти суровым.

Глава 6. МЭРРЕЛ ИДЕТ ЗА КРАСКАМИ

Мэррел глядел на лестницу, и в его сознании, медленно освобождавшемся от пиршественных паров, возникла догадка об еще одном результате ночной или научной экспедиции. Он вспоминал, что в такой же самый час, когда на траве лежали длинные тени и слабо розовела заря, он бросил живопись, чтобы охотиться на библиотекаря. Библиотекаря он загнал на самый верх полки; а лестница стояла в саду, словно старая утварь, вся в каплях утренней росы, и пауки уже оплетали ее серебряной пряжей. Что случилось, почему лестница здесь? Он вспомнил шутки Джулиана Арчера, лицо его передернулось, и он вбежал в библиотеку.

Сперва ему показалось, что длинная, высокая комната, уставленная книгами, совершенно пуста. Но вскоре он увидел высоко, в том уголке, куда полез библиотекарь за французскими книгами, голубое светящееся облачко. Он всмотрелся и разглядел, что лампочка еще горит, а туман, ее окружающий, состоит из клубов дыма, ибо тот,

кто сидит там, курит очень давно, наверное — целые сутки. Тогда Мэррел разглядел длинные ноги, свисающие с насеста, и понял, что Майкл Херн просидел наверху от зари до зари. К счастью, у него были сигареты; но еды у него не было. «Господи, — пробормотал Мэррел, — он с голоду умирает! А как же он спал? Если бы он заснул, он бы свалился».

И Мэррел тихонько окликнул библиотекаря, как окликают ребенка, играющего у обрыва.

— Все в порядке, — сказал он. — Я принес лестницу.

Библиотекарь кротко взглянул на него поверх книги и спросил:

— Вы хотите, чтобы я спустился?

Тогда и увидел Мэррел последнее чудо этих суток. Не дожидаясь лестницы, Майкл Херн проворно спустился по полкам, как по ступенькам, и спрыгнул на пол. Правда, на полу он пошатнулся.

— Вы спрашивали Гэртона Роджерса? — сказал он. — Какой интересный период!

Мэррел редко пугался, но тут ему стало страшновато. Он поглядел бессмысленно на библиотекаря и повторил: «Период? Какой период?»

— Ну, — отвечал Херн, полузакрыв глаза, —

можно считать, что интереснее всего — от тысяча восьмидесятого года до тысяча двести шестидесятого. А вы как думаете?

— Я думаю, что нелегко столько голодать, — сказал Мэррел. — Господи, вы же совсем извелись! Неужели вы вправду просидели там… два столетия?

— Я чувствовал себя как-то смешно, — признался библиотекарь.

— У меня другое чувство юмора, — сказал Мэррел. — Вот что, пойду принесу вам поесть. Слуги еще спят, но мой приятель, точильщик, показал мне, как лазать в кладовую.

Он выбежал из комнаты и вернулся очень скоро с полным подносом, на котором главное место занимали бутылки.

— Древний британский сыр, — говорил он, расставляя еду на книжной этажерке, — холодная курица, зажаренная не раньше тысяча триста девяностого года. Любимое пиво Ричарда I. Ветчина по-трубадурски. Ешьте скорей! Честное слово, люди ели и пили в любую эпоху.

— Мне столько пива не выпить, — сказал Херн. — Еще очень рано.

— Нет, очень поздно, — сказал Мэррел. — Я тоже с вами выпью, я только что с пира. Лишний

стаканчик не повредит, как поется в старой провансальской песне.

— Право, — сказал Херн, — я не совсем понимаю...

— И я не понимаю, — отвечал Мэррел, — но я тоже сегодня не ложился. Занимался научными исследованиями. Не ваш период, другой, да он и без меня описан, социология, знаете, то да се. Вы уж простите, что немного осовел. Я все думаю, неужели один период так отличается от другого?

— Ах ты Господи, — возрадовался Херн, — именно это я и чувствую! Средние века удивительно похожи на мою эпоху. Как интересно это превращение царских или королевских слуг в наследственную знать! Вам не кажется, что вы читаете об изменениях, происшедших после нашествия Замула?

— Еще бы не казалось!.. — ответил Мэррел. — Ну, теперь вы нам все объясните про этих трубадуров.

— Да, но вы и ваши друзья сами их изучили, — сказал библиотекарь. — Вы давно ими занимаетесь, только я не совсем пойму, почему вас увлекли трубадуры. На мой взгляд, труверы подошли бы здесь больше.

— Привычка, понимаете ли, — ответил Мэр-

рел. — Все привыкли, что серенаду поет трубадур. А если в саду заметят трувера, полицию позовут, кто его там знает…

Библиотекарь несколько удивился.

— Сперва мне казалось, что трувер — вроде зеля, игрока на лютне, — признался он. — Но теперь я пришел к выводу, что он ближе к пани.

— Так я и думал, — печально признался Мэррел. — Но этого не решишь без Джулиана Арчера.

— Да, — смиренно согласился Херн. — Мистер Арчер глубоко изучил эти проблемы.

— Он все проблемы изучил, — сдержанно сказал Мэррел. — А я ни одной… кроме разве пива, я его, кстати, один и пью. Ну, мистер Херн, пейте веселей!.. Может, вы споете застольную хеттскую песню?

— Нет, право, — серьезно отвечал Херн. — Я не сумею, я плохо пою.

— Зато лазаете вы хорошо, — заметил Мэррел. — Я часто скатываюсь с омнибуса, но такого я бы и сам не сделал. Загадочный вы человек. Теперь вы подкрепились, главное — выпили, и я вас спрошу: если вы все время могли слезть, почему вы не пошли спать и не поели?

— Признаюсь, я предпочел бы лестницу, —

смущенно сказал Херн. — У меня немножко кружилась голова, и я все же боялся упасть, пока вы меня не подтолкнули. Обычно я так не лазаю.

— И все-таки, — настаивал Мэррел, — как же вы там просидели всю ночь? Спустись, любовь ждет в долине… следовательно, на полку она не полезет. Зачем вы оставались наверху?

— Мне стыдно за себя самого, — печально отвечал ученый. — Вы говорите «любовь», а я совершил измену. Я словно бы влюбился в чужую жену. Человек должен держаться того, с чем он связан.

— Боитесь, что царевна Паль-Уль — как ее там, приревнует вас к Беренгарии Наваррской[35]? — предположил Мэррел. — Прекрасный рассказ… за вами гоняется мумия, подстерегает вас и пугает по ночам в коридорах. Теперь я понимаю, почему вы боялись спуститься. Нет, правда, ведь вас там книги держали.

— Я оторваться не мог, — чуть ли не простонал Херн. — Я никак не думал, что восстановление цивилизации после варваров так интересно и сложно. Возьмите хотя бы вопрос о крепостных. Страшно подумать, что было бы, займись я этим

---

35 notes: 35

Беренгария Наваррская (1165—1230) — жена Ричарда Львиное Сердце.

в молодости.

— Наверно, вы пустились бы во все тяжкие, — сказал Мэррел. — Помешались бы на готике, или на старой меди, или на витражах. Впрочем, еще не поздно.

Ответа он ждал минуты две. Библиотекарь както странно оборвал беседу; еще более странно смотрел он в открытую дверь на уступы сада, все сильнее пригреваемые утренним солнцем. Он смотрел на длинную аллею, окаймленную яркими клумбами, напоминающими миниатюры на полях старых книг, и на старый камень, стоявший в глубине, над уступами.

— Что таится в этих словах, — сказал он наконец, — которые мы так часто слышим? «Слишком поздно». Иногда мне кажется, что это правда, иногда — что это ложь. Быть может, все уже поздно делать, быть может, — никогда не поздно. Да, слова эти разделяют мечту и действительность. Всякий ошибается; говорят, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А может быть, мы и ошиблись потому, что не делали ничего?

— Я же сказал вам, — ответил Мэррел, — по-моему, все едино. Эти проблемы интересны для таких, как вы, и пусты для таких, как я.

— Да, — с неожиданной твердостью сказал

Херн. — Но предположите, что одна из проблем касается и вас, и меня. Предположите, что мы забыли родного отца, откапывая кости чужого прапрадеда. Предположите, что меня преследует не мумия или что мумия еще не мертва.

Мэррел смотрел на Херна, а Херн упорно смотрел на памятник в глубине аллеи.

Оливия Эшли была странной девушкой. Друзья, каждый на своем диалекте, называли ее занятной старушкой, романтической барышней, удивительным человеком, а самым удивительным в ней было то, с чего мы начали нашу повесть, — она по-прежнему писала миниатюру, когда все занимались пьесой. Она сидела склонившись, если не сгорбившись, над своей микроскопической средневековой работой в самом сердце нелепого театрального вихря. Выглядело это так, словно кто-то рвал цветы, повернувшись спиной к скачкам. Однако пьесу написала она, и она, а не кто иной, любила средневековье.

— Ну что же это! — говорила Розамунда, в отчаянии разводя руками. — Она получила, что хотела, и ничего не делает. Вот ей, пожалуйста, ее средние века, а ей ничего не нужно! Возится со своими красками, золотит там что-то, а мы трудись…

— Ну, ну, — отвечал Мэррел, всеобщий миротворец. — Это хорошо, что работаете вы. Вы же такая деловитая. Настоящий мужчина.

Розамунда смягчилась и сказала, что ей часто хочется стать мужчиной. Никто не знал, чего хочет ее подруга, но можно не сомневаться в том, что мужчиной ей стать не хотелось. Розамунда была не совсем права — Оливия ничего никому не навязывала. Скорее, пьесу у нее чуть не вырвали. Правда, они много к ней прибавили и знали это, да и кому же было знать, как не им. Они приспосабливали пьесу к сцене. В таком, новом виде она давала Джулиану Арчеру возможность эффектно появляться перед публикой и эффектно исчезать. Но Оливия, как ни жаль, все сильнее чувствовала, что его исчезновения радуют ее больше, чем появления. Она никому в том не признавалась, особенно — ему, ибо могла ссориться с теми, кого любила, но не с теми, кого презирала; и уходила в скорлупу, похожую на те чашечки, в которых держат золотую краску.

Если она хотела нарисовать серебряное дерево, она не слышала над собой громкого голоса, сообщающего ей, что золото куда шикарней. Если она рисовала алую рыбку, она не видела укоризненного взгляда, говорившего: «Я не выношу

красного». Дуглас не смеялся над ее башенками и часовнями, даже если они были нелепыми, как в пантомиме. Быть может, они были смешны, но она сама и шутила, то есть радовалась, а не издевалась. Дивный кукольный домик, в котором она играла с крохотными святыми и крохотными ангелами, был слишком мал для ее больших и шумных братьев и сестер. Потому, к их великому удивлению, она и занялась своим прежним, любимым делом. Но сейчас, поработав минут десять, она встала и выглянула в сад. Потом вышла, как заведенная кукла, с кисточкой в руке. Она немного постояла около готического обломка, где они с Мартышкой обсуждали Джона Брейнтри. Наконец сквозь стеклянные двери и окна старого крыла она увидела библиотекаря и того же Мартышку.

По-видимому, именно они пробудили ее. Она приняла решение или поняла то, что решила раньше. Свернув к библиотеке, она поспешила туда и, не замечая, как удивленно здоровается с ней Мэррел, серьезно сказала библиотекарю:

— Мистер Херн, разрешите мне взглянуть на одну книгу.

Херн очнулся и сказал:

— Простите…

— Я хотела с вами о ней поговорить, — продолжала Оливия. — Я видела ее на днях… Кажется, она о святом Людовике[36]. Там есть рисунки на полях, а в них — удивительный алый цвет: яркий, как будто раскаленный, и нежный, как небо на закате. Я нигде не могу найти такой краски.

— Ну что вы! — легкомысленно сказал Мэррел. — Наверняка ее можно найти, если искать умеючи.

— Вы имеете в виду, — не без горечи заметила Оливия, — что теперь можно купить все, если есть деньги.

— Хотел бы я знать, — напевно проговорил библиотекарь, — можно ли приобрести за деньги древнехеттский палумон.

— Не уверен, что он висит на витрине, — сказал Мэррел, — но где-нибудь да найдется миллионер, который хочет на нем заработать.

— Вот что, Дуглас, — воскликнула Оливия. — Вы любите всякие пари. Я покажу вам этот алый цвет, вы сравните его с моими красками, а потом пойдите и попробуйте купить такую краску, как в книге.

---

36 notes: 36

Святой Людовик. — Людовик IX (1214—1270), король Франции с 1226 г.

Глава 7. ТРУБАДУР БЛОНДЕЛЬ

— А… — растерянно промолвил Мэррел. — Да, да… Рад служить.

Нетерпеливая Оливия влетела в библиотеку, не дожидаясь помощи библиотекаря, все еще глядевшего вдаль светлым, сияющим взором. Она вытащила тяжелый том с одной из нижних полок и раскрыла его на изукрашенной странице. Буквы словно ожили и поползли золотыми драконами. В углу было многоголовое чудище из Апокалипсиса, и даже легкомысленный Мэррел почувствовал, что оно сияет сквозь века алым светом чистого пламени.

— Вы хотите, — сказал он, — чтобы я изловил вам в Лондоне этого зверя?

— Я хочу, чтобы вы изловили эту краску, — сказала дама. — Вы говорите, что в Лондоне можно достать все, так что вам не придется далеко ходить. На Хеймаркет[37] некий Хэндри продавал как раз такую, когда я была маленькой. А теперь я нигде не найду нежного оттенка, который знали в четырнадцатом веке.

---

37 notes: 37

Хеймаркет — лондонская улица в районе Пикадилли.

— Я сам не так давно писал красной краской, — скромно сказал Мэррел, — но нежной она не была. Красный — цвет двадцатого века, как галстук у Брейнтри. Я, кстати, говорил с ним о галстуке…

— Брейнтри! — гневно воскликнула Оливия. — Он что, вместе с вами кутил всю ночь?

— Не могу сказать, чтобы он был веселым собутыльником, — виновато ответил Мэррел. — Эти красные революционеры плохо разбираются в красном вине. Да, а может, мне лучше найти для вас вино? Принесу вам дюжину портвейна, дюжины две бургундского, кларету, кьянти, испанских вин — и получим этот самый цвет. Смешивая вина, как смешивают краски, мы…

— Что делал мистер Брейнтри? — не без строгости спросила Оливия.

— Учился, — добродетельно ответил Мэррел. — Проходил дополнительный курс, непредусмотренный вами. Вы говорили, его надо ввести в свет, чтобы он послушал споры о неведомых ему вещах. Того, что мы слышали в «Свинье и Свистке», он и точно не ведал.

— Вы прекрасно знаете, — довольно сердито возразила она, — что я не имела в виду этих ужасных мест. Я хотела, чтобы он поспорил с умными

людьми…

— Дорогая Оливия, — мирно сказал Мэррел, — неужели вы не поняли? В таких спорах Брейнтри общелкает кого угодно. Он в десять раз яснее видит то, что видит, чем ваши культурные люди. Читал он столько же, и помнит все, что читал. Кроме того, он способен сразу проверить, верно что-нибудь или нет. Быть может, его критерий ложен, но он применяет его и получает результаты. А мы… неужели вы не чувствуете, как у нас все туманно?

— Да, — сказала она уже не так колко. — Он знает, чего хочет.

— Правда, он не всегда знает, чего хотят другие, — продолжал Мэррел, — но в нас-то он разбирается. Неужели вы действительно ждали, что он стушуется перед Уистером? Нет, Оливия, нет, если вам надо, чтобы он стушевался, вы бы лучше пошли с нами в «Свинью и Свисток»…

— Я никого не хотела унижать, — сказала она. — Вам не следовало водить его в такое место.

— А как же я? — жалобно спросил Мэррел. — Как же моя нравственность? Разве *меня* не стоит воспитывать? Разве *мою* бессмертную душу не нужно спасать? Почему вам безразлично, не испорчусь ли *я* в «Свинье и Свистке»?

— Всем известно, — сказала она, — что на вас такие вещи не действуют.

— У них красный галстук, — размечтался Мэррел, — а у нас, демократов, красный нос. От Марсельезы — к балагану! Пойду-ка я поищу в Лондоне истинно алый нос, не розовый, не малиновый, не какой-нибудь лиловый и не вишневый, заметьте, а такой самый, четырнадцатого века…

— Найдите краску, — сказала Оливия, — и красьте нос кому хотите. Лучше всего — Арчеру.

Пришло время познакомить долготерпеливого читателя с пьесой о трубадуре Блонделе, без которой не было бы и романа о возвращении Дон Кихота. В пьесе этой трубадур покидает даму сердца, почему-то — без объяснений, и она ревнует, полагая, что он отправился в Европу, чтобы служить другим дамам. На самом же деле он из чисто политических соображений собрался служить высокому и бравому мужчине. Мужчину этого, то есть короля Ричарда I, играл достаточно высокий и бравый майор Трилони, дальний родственник мисс Эшли, один из тех людей, встречающихся в высшем свете, которые умеют играть, хотя едва умеют читать и совсем не умеют думать. Он был покладист, но очень занят, и к репетициям относился небрежно. Политические

же соображения, побудившие трубадура служить ему, отличались неправдоподобным и даже раздражающим бескорыстием. Чистота их граничила с извращенностью. Мэррел не мог слышать спокойно, как самоубийственно-бескорыстные фразы слетают с уст Арчера. Словом, Блондель, исполненный преданности королю и любви к Англии, страстно желал вернуть Англии короля. Он спал и видел, как король наведет в королевстве порядок и разоблачит козни Иоанна[38] — присяжного, полезного и перетрудившегося злодея исторических повестей.

Главная сцена была неплоха для любительской драмы. Когда Блондель наконец находил замок, где томился его властелин, и неизвестно как собирал в австрийскому лесу придворных дам, рыцарей, герольдов и прочих, чтобы они должным образом почтили короля, Ричард выходил под звуки труб, становился в середине сцены и прямо перед своим бродячим двором величественно отрекался от трона. Он сообщал, что отныне будет не королем, но лишь странствующим рыцарем.

---

38 notes: 38

...разоблачит козни Иоанна... — Имеется в виду Иоанн Безземельный (1167—1216) — английский король с 1199 г. Спорил с папой Иннокентием III из-за того, кому стать архиепископом Кентерберийским; подписал «Великую хартию вольностей» (1215).

Пространствовал он вроде бы достаточно; однако это не излечило его. Странствия по европейским лесам привели к австрийскому плену, но король считал их лучшей порой своей жизни, обличая коварство других властелинов века и общее положение дел. Оливия Эшли совсем неплохо подражала напыщенному елизаветинскому стиху, которым король и выразил, что он предпочитает змей Филиппу Августу, а вепря — политическим деятелям тех времен, и сердечно взывает к волкам и зимним ветрам, умоляя их его приютить, ибо он не собирается возвращаться к родным и советникам. Шекспировским слогом отказавшись от короны, он отбрасывает меч и направляется к правой кулисе, что, естественно, огорчает Блонделя, пожертвовавшего личным счастьем ради общественного долга и видящего, как этот общественный долг уходит в частную жизнь. Своевременное и не совсем вероятное появление Беренгарии Наваррской в том же самом лесу восстанавливает хотя бы личные дела; если читатель знает законы романтической драмы, ему не надо говорить о том, что примирение Блонделя с дамой очень быстро, но успешно содействует примирению короля с королевой. Австрийский лес наполняется надлежащим на-

строением, тихой музыкой и вечерним светом, действующие лица собираются группами у рампы, публика спешит за шляпами и зонтиками.

Такой была пьеса «Трубадур Блондель», недурной образец сентиментального и старомодного стиля, популярного до войны; и мы пересказываем ее лишь потому, что она сильно повлияла потом на жизнь. Все были этой пьесой заняты, лишь два участника жизненной драмы занимались не ею, что сказалось на их будущей судьбе. Оливия Эшли без зазрения совести корпела над красками и старыми требниками, Майкл Херн поглощал книгу за книгой по истории, философии, теологии, этике и экономике четырех веков, называемых средними, чтобы должным образом произнести пятнадцать нерифмованных строк, отведенных мисс Эшли второму трубадуру.

Честности ради сообщим, что Арчер трудился не меньше Херна. Как два трубадура, они часто работали, сидя рядом.

— Вот что, — сказал однажды Арчер, бросая рукопись, которую он все зубрил. — Этот Блондель что-то крутит. Разве это любовь? Я бы поддал тут жару…

— Действительно, — отвечал второй трубадур, — в провансальском любовном культе была

какая-то отрешенность, которая на первый взгляд может показаться искусственной. Суды любви отличались педантичностью, даже крючкотворством. Иногда не было важно, видел рыцарь даму или нет. Таков случай Рюделя и принцессы Триполитанской[39]. Подчас поклонение означало как бы учтивый поклон жене сюзерена, оно совершалось открыто, и муж ему не противился. Однако мне кажется, в те времена бывала и настоящая любовь.

— В этом трубадуре ее маловато, — сказал разочарованный актер. — Все духовность какая-то, сплошная чушь. Я не верю, что он хотел жениться.

— Вы думаете, он был под влиянием альбигойских учений[40]? — серьезно, даже пылко спросил библиотекарь. — Действительно, гнездо этой ереси находилось на юге, и многие трубадуры увлекались такими философскими движениями.

— Да уж, движения у него философские, — ска-

---

39 notes: 39

Рюдель и принцесса Триполитанская — персонажи романа английского писателя Майкла Баррингтона «Принцесса Триполитанская» (1910); *Рюдель* — знаменитый трубадур, воспетый Петраркой, Браунингом и Суинберном.

40 notes: 40

Альбигойские учения — еретическая доктрина дуалистического характера, считающая мир и плоть порождением злого начала; пользовалась особой популярностью в XI — XIII вв.

зал Арчер. — Так за женщиной не ухаживают. Кому понравится, что он все топчется? Тянет и тянет.

— По-видимому, уклонение от брака было очень важным для этой ереси, — сказал Херн. — Я заметил, что в хрониках о крестовом походе Монфора и Доминика[41] про обращенных к правоверию говорится: «iit in matrimonium»[42]. Было бы очень интересно сыграть Блонделя как полувосточного пессимиста, как человека, для которого плоть — бесчестие духа в самых своих прекрасных и законных проявлениях. Правда, в тех строках, которые отведены мне, это выражено недостаточно ясно. Быть может, в вашей роли это яснее.

— Какая уж тут ясность… — отвечал Арчер. — Романтическому актеру совершенно нечего играть.

— Я не разбираюсь в школах игры, — печально сказал библиотекарь. — Хорошо, что мне дали несколько строк.

---

41 notes: 41

…о походе Монфора и Доминика. — Речь идет о походе Симона де Монфора (II-я пол. XII в. — 1218 г.) против альбигойцев. *Доминик* — Доменико Гусман (1170—1221), испанский проповедник, обличавший альбигойскую ересь; основатель ордена доминиканцев.

42 notes: 42

вступил в брак (*лат.*)

Он помолчал, а Джулиан Арчер поглядел на него с рассеянной жалостью и пробормотал, что на спектакле все сойдет хорошо. При всей своей хватке Арчер не замечал тонких изменений социальной атмосферы и все еще видел в библиотекаре не то лакея, не то конюха, которому положено сказать «кушать подано» или «карета у ворот». Поглощенный своими обидами, он и не слышал, что библиотекарь продолжает тихо и задумчиво:

— Но мне все кажется, именно романтическому актеру было бы очень интересно передать эту высокую, хотя и бесплодную романтику. Есть пляска, выражающая гнушение плотью, она угадывается во многих азиатских узорах. Ее и плясали провансальские трубадуры — пляску смерти. Ведь дух презирает плоть двумя путями: умерщвляя ее, как факир, или пресыщая, как султан, только бы ее не чтить. Да, вам будет интересно воплотить на сцене этот горький гедонизм, этот дикий, трубный вопль языческого пира, под которым кроется отчаяние.

— Отчаяния хоть отбавляй, — сказал Арчер. — Трилони не ходит на репетиции, Оливия Эшли возится со своими красочками.

Внезапно он понизил голос, обнаружив, что

упомянутая им дама сидит в другом углу библиотеки, спиной к нему, и действительно возится с красками. По-видимому, она его не слышала; во всяком случае, она не обернулась, и Джулиан Арчер продолжал оживленно ворчать.

— Вряд ли вы представляете, чем взять публику, — говорил он. — Конечно, освистать нас не освищут, но успеха не будет, если не подбавить перцу в диалог.

Майкл Херн раздваивался: одной половиной сознания он слушал, другая же, как нередко бывало, устремилась в сад, который сейчас походил на карнавал или на видение. Из глубины аллеи, поросшей сверкающей травой, под тонкими деревьями, мерцавшими на солнце, шла принцесса в дивном голубом платье и причудливом рогатом уборе. Дойдя до лужайки, она воздела руки, то ли потягиваясь, то ли взывая к небесам. Широкие рукава забились на ветру, как крылья райской птицы, о которой недавно говорил Арчер.

Когда голубая фигура передвинулась еще на зеленом поле, даже отрешенный библиотекарь понял, что с ней что-то творится. На лице Розамунды отражались то ли досада, то ли смятение. Но сама она сияла здоровьем и доверчивостью, а голос у нее был такой звонкий и твердый, что

даже дурные вести в ее устах казались добрыми.

— Хорошенькое дело! — гневно сказала она, взмахивая распечатанной телеграммой. — Хью Трилони не может играть короля.

В некоторых случаях Джулиан Арчер соображал быстро. Он сам сердился; но сейчас сразу прикинул, что возьмет эту роль и успеет ее выучить. Конечно, придется поработать, но он работы не боялся. Трудно было другое: кто же сыграет тогда Первого трубадура?

Другие еще не глядели в будущее, и Розамунда еще качалась от удара, нанесенного коварным Трилони.

— Ах, надо все бросить! — сказала она.

— Ну, ну, — сказал стойкий Арчер. — Я бы на вашем месте не бросал. Глупо, честное слово, когда мы столько трудились.

Взгляд его сам собой переметнулся в тот угол, где темная головка и прямая спина мисс Эшли упорно склонялись над заставками. Оливия давно ничем другим не занималась; правда, она подолгу гуляла, никто не знал — где именно.

— Да я не раз вставал в шесть утра! — сказал Арчер в доказательство своих слов.

— Как же нам играть? — горестно вскричала Розамунда. — Кто еще сыграет короля? Сколько

мы мучились со Вторым трубадуром, пока не согласился мистер Херн!

— Если короля возьму я, — сказал Арчер, — некому играть Блонделя.

— Ну вот, — резко сказала Розамунда. — Надо все бросать.

Все молча глядели друг на друга, пока одновременно не повернули голову туда, откуда раздался голос. Оливия Эшли встала и заговорила. Они удивились, ибо не думали, что она слушает.

— Да, придется все бросить, — сказала она, — если мистер Херн не согласится сыграть короля. Только он понимает, о чем пьеса, и только ему это важно.

— Господи!.. — беспомощно откликнулся Херн.

— Не знаю, что вам всем кажется, — горько говорила Оливия. — Вы превратили все в оперу… нет, в оперетту. Я сама разбираюсь в этом куда хуже, чем мистер Херн, но я хоть что-то имею в виду. Нет, не думаю, что могу это выразить… старые песни выражают это гораздо лучше… «Когда-то он вернется» или «Вернулся наш король»…

— Это песни якобитские, — мягко поправил Арчер. — Немного перепутали периоды, а?

— Я не знаю, какой король должен был вернуться, — упрямо сказала Оливия. — Король

Артур, король Ричард, король Карл или кто еще. Но мистер Херн понимает, чем был для тех людей король. Я бы хотела, чтобы он стал королем Англии.

Джулиан Арчер закинул голову и захохотал. Хохотал он слишком громко, почти неестественно, как те, кто встречал смехом пророчества.

— Нет, правда! — возразила практичная Розамунда. — Если мистер Херн будет играть короля, кто-то должен играть его теперешнюю роль, из-за которой мы столько намучились.

Оливия Эшли снова отвернулась и занялась красками.

— Ну, это я улажу, — отрывисто сказала она. — Один мой друг возьмется, если вы не против.

Все удивленно воззрились на нее, и Розамунда сказала:

— Может, спросим лучше Мартышку? Он знает столько народу...

— Ты прости, — сказала Оливия, не отрываясь от красок. — Я его послала с поручением. Он согласился купить мне краску.

И впрямь, пока свет, к удивлению Арчера, обсуждал коронацию Херна, общий друг Дуглас Мэррел отправлялся в экспедицию, которая оказала немалое влияние на жизнь его друзей.

Оливия попросила узнать, продается ли одна краска; но он по-холостяцки весело любил приключения, особенно же — приготовления к ним. В ночной обход с Джоном Брейнтри он вышел так, словно ночь продлится вечно; а сейчас выходил так, словно поиски приведут его на край света. Собственно, они и привели его туда, где кончался свет или начинался новый. Он взял из банка много денег, набил карманы табаком, фляжками вина и перочинными ножами, как будто бы собрался на Северный полюс. Самые умные люди играют в эти игры, но он играл с особенной серьезностью и вел себя так, словно думал встретить на улицах чудищ и драконов.

Чудище он встретил, едва миновал готические ворота. Когда он выходил из аббатства, в него входил кто-то очень знакомый и совсем незнакомый. Мучительно, как в кошмаре, Мэррел тщился понять, кто же это, пока не понял, что это Джон Брейнтри, сбривший бороду.

Глава 8. ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ МАРТЫШКИ

Мэррел остановился, вглядываясь в силуэт, темневший на зеленом фоне; и в воображении его, обычно — неосознанном, закопошились почти зловещие образы. Ни черная кошка, ни белая ворона, ни пегая лошадь не так опасны, как бритый синдикалист. Тем временем Брейнтри, несмотря на их взаимную приязнь, глядел на него строго, если не сердито; он больше не мог выставлять вперед бороду, но выставлял подбородок, и тот казался таким же воинственным, как она.

Однако Мэррел приветливо сказал: «Идете нас выручать?» Он был тактичен и не стал говорить: «Ага, идете выручать нас!»; но сразу словно в озарении, понял, что случилось. Он понял, куда ходила Оливия Эшли, и почему она стала рассеянной и к чему привел ее социальный эксперимент. Бедного Брейнтри, павшего духом после эксперимента трактирного, взяли врасплох. Пока он чувствовал, что ворвался в замок во главе мятежников, ему было нетрудно бросать вызов ей, как и прочим аристократам. Когда же Мэррел заро-

нил в нем сомнения в том, демократ ли он сам, Брейнтри превратился в одинокого, ранимого, копающегося в себе человека, которого нетрудно пленить приветливостью и деликатным сочувствием. Мэррел понял все, кроме разве конца; но ничем этого не выдал.

— Да, — неловко ответил Брейнтри. — Мисс Эшли попросила меня помочь. Почему вы сами не помогли ей?

— Какой из меня помощник! — откликнулся Мэррел. — Я им сразу сказал, декорации писать буду, но ниже не опущусь. К тому же мисс Эшли дала мне другое поручение.

— В самом деле, — сказал Брейнтри, — вид у вас такой, будто вы идете попытать счастья на золотых россыпях.

— Да, — сказал Мэррел. — Вооружен я до зубов. А иду я на подвиг… или в бой. Собственно, я иду в магазин.

— А… — сказал удивленный Брейнтри.

— Попрощайтесь за меня с друзьями, — не без волнения продолжал Мэррел. — Если я паду в первой битве, у кассы, передайте им, что я неотступно думал об Арчере. Положите камешек там, где я упал, и вспоминайте меня, когда запоют весенние птички. Прощайте и будьте счастливы.

И, взмахнув палкой в знак благословения, он зашагал по дороге, оставив темный силуэт в несколько растерянном виде.

Весенние птички, которых он так трогательно вспомнил, действительно пели на тонких деревьях, чьи легкие зеленые листья казались взъерошенными перьями. Было то недолгое время года, когда мир обретает крылья. Деревья поднимались на цыпочки, словно собирались взлететь к бело-розовому облаку, плывшему перед ним геральдическим херувимом. Детские воспоминания пробудились в нем, и он представлял себя принцем, а свою неуклюжую палку — мечом. Потом он вспомнил, что путь его лежит не в леса и долины, а в лабиринт обыденных, людных улиц; и его простое, приятное, умное лицо исказила насмешливая улыбка.

Сперва он направился в город, где проводил свой опыт с Брейнтри. Сейчас его не влек ночной мир; и строгий его дух был достоин холодного утреннего света. «Дело есть дело, — сказал он сурово. — Теперь, когда я человек деловой, надо смотреть на вещи трезво. Насколько я знаю, все деловые люди произносят перед завтраком: „Дело есть дело“. Что тут еще скажешь! Хотя, собственно, это простой повтор…»

Начал он с длинного ряда вавилонских зданий, называвшихся «Универсальным магазином», о чем сообщали золотые буквы величиной с окна. Шел он туда намеренно, хотя сделать что-либо иное было бы нелегко, ибо здания эти занимали всю сторону улицы и половину другой ее стороны. Толпы пытались выйти оттуда, толпы пытались войти, а самая густая толпа стояла тихо и глядела на витрины, не помышляя о покупках.

Внутри, через равные промежутки времени, Мэррел натыкался на упитанных мужчин, отсылавших его дальше мягким мановением руки, и ему все сильнее хотелось ударить один из любезных межевых столбов своей тяжелой палкой; однако он чувствовал, что это оборвет его подвиг в самом начале. Сдерживая бешенство, он сообщал название нужного отдела, вежливый мужчина название повторял, взмахивал рукой, и Мэррел шел дальше, скрежеща зубами. По-видимому, все здесь думали, что где-то в золоченых чертогах и переходах кроется посвященный художникам отдел; но никто не знал, где он и как туда добраться при нынешнем состоянии цивилизации. Время от времени возникал колоссальный колодец лифта, и становилось просторнее, ибо одни взмывали вверх, другие исчезали в чреве земли. Мэррелу,

как Энею, пришлось спуститься в подземный мир. Здесь началось такое же нескончаемое странствие, несколько скрашиваемое приятным сознанием, что ты глубоко под улицей, как бы в огромном угольном погребе.

«Однако это удобно, — весело думал Мэррел. — Чем бегать по улице, иди себе и иди из магазина в магазин».

Человек, прозванный Мартышкой, был вооружен не только дубинкой или ножом. В сущности, все это было ему не так уж чуждо — он ходил и раньше по таким же коридорам, отыскивая для кого-нибудь ленты или галстуки нужного цвета. Оливия не первой послала его в поход; он был из тех, кому дают небольшие и важные поручения. Именно его просили присмотреть за чужой собакой, именно у него стояли чемоданы, которые Билл и Чарли должны были забрать по пути из Месопотамии в Нью-Йорк; именно ему доверяли багаж и, должно быть, доверили бы ребенка. При этом он не терял достоинства, которое было в нем очень глубоким и прочным; более того — он не терял свободы. Вид у него бывал такой, словно все это ему нравится, и те, кто потоньше, подозревали, что так оно и есть. Он умел обратить поручения в смешные приключения и сейчас

серьезно извлек из бумажника кусок старой бумаги, твердой и потемневшей, как пергамент, на которой тонкой, но четкой линией был очерчен контур птичьего крыла. Быть может, это был эскиз крыла ангельского, ибо несколько перьев пламенели удивительным алым цветом, который не угас на поблекшем рисунке и запыленной бумаге.

Надо было знать, что значил этот клочок для Оливии, чтобы понять, какое важное дело она доверила Мэррелу. Рисунок был сделан давно, в ее детстве, а рисовал ее отец, человек замечательный во многих отношениях, но главным образом — как отец. Благодаря ему она с самого начала мыслила в красках. Все, что для многих зовется культурой и приходит исподволь, она получила сразу. Готические очертания и сияющие краски пришли к ней первыми, и по ним она судила падший мир. Именно это она пыталась выразить, восставая против прогресса и перемен. Самые близкие ее друзья удивились бы, узнав о том, что у нее захватывает дух при мысли о волнистых серебряных линиях или сине-зеленых зубцах узора, как у других захватывает дух при воспоминании о былой любви.

Вместе с этим обрывком бумаги Мэррел вынул

другой, поновее, на котором было написано: «Краски Хэндри для книжных миниатюр. 15 лет назад продавал на Хеймаркет. Не „Хэнри и Уотсон“! Эти были в стеклянных баночках. Дж. А. думает, теперь он скорей в провинции, чем в Лондоне».

Воодушевившись этими сведениями, Мэррел, зажатый между незлобивым мужчиной и очень злобной дамой, поплыл по течению к прилавку. Мужчина соображал медленно, дама быстро, а молодая продавщица разрывалась между ними. Она бросала на даму дикие взгляды, паковала что-то для мужчины и раздраженно отвечала кому-то еще, скрывавшемуся за ее спиной.

«Никогда ничего не бывает вовремя, — покорно размышлял Мэррел. — Ну можно ли сейчас рассказывать о раннем детстве Оливии, о том, как она мечтала у огня об огненном херувиме, или хотя бы о том, как сильно влиял на нее отец? Однако я не знаю, чем другим объяснить им наше рвение. А все моя широта взглядов, каждого я понимаю!.. Когда я говорю с Оливией, я вижу, что для нее верная и неверная краска так же реальны, как правда и ложь, тусклый оттенок красного — как тень на добром имени или намеренный обман. Когда я смотрю на эту девицу, я понимаю, что она

вправе благодарить небо, если не продала шести мольбертов вместо шести альбомов, и не всучила тушь тому, кто спрашивал скипидар».

Мэррел решил свести объяснения к минимуму и дополнить их позже, если он останется живым. Твердо сжимая свои бумажки, он посмотрел на продавщицу взором укротителя и сказал:

— Есть у вас краски Хэндри для книжных миниатюр?

Девица несколько секунд глядела на него так, словно он обратился к ней по-русски. Она даже забыла на время механическую, безжалостную вежливость, которая сопровождает обычно наши быстрые торговые операции. Она не переспросила и не извинилась, она просто вымолвила: «А?..» тем резким, режущим, жалобным и сварливым тоном, к которому и сводится мещанский говор.

Труден путь современного романиста; хуже того — он легок или, вернее, мягок. Ты словно идешь по песку, когда хочешь прыгать с утеса на утес. Ты хотел бы обрести крылья голубки, улететь и успокоить душу мирным убийством, кораблекрушением, мятежом, пожаром, но нет, тащись по пыльной дороге через чистилище мелочей, пока не выйдешь в небеса беззаконий. Реализм скучен; именно это имеют в виду, говоря, что только

он способен правильно изобразить нашу бурную и высокую цивилизацию. Так, например, лишь долгий перечень однообразных деталей может показать читателю, какой была беседа между Дугласом Мэррелом и девицей, продававшей или верней не продававшей краски. Для начала мы должны были бы напечатать десять раз подряд один и тот же вопрос, превращая страницу в узорные обои. Еще труднее, пользуясь выборочным методом романтиков, показать, как менялось обалделое лицо продавщицы и какие она отпускала замечания. Разве изобразит наш краткий очерк лик и повадки Большого Бизнеса? Разве передаст, как его служительница кивнула и вынула коробку акварели, а потом покачала головой и сказала, что красок для книжных иллюстраций у них нет и вообще не бывает? Как она пыталась всучить покупателю пастель, уверяя, что это то же самое. Как она отрешенно промолвила, что сейчас хорошо идут красные и зеленые чернила. Как она спросила, не для детей ли покупает он краски, безуспешно пытаясь сбыть его в детский отдел. Как впала она в горький агностицизм, от чего у нее открылся насморк, и отвечала на все «Де здаю».

Все это заняло бы столько же места, сколько

заняло времени, пока читатель понял бы, почему покупатель больше не мог выдержать. Протест против бессмысленности накапливался в нем, и праведный гнев перекипал в насмешку. Наконец он почти нагло оперся на прилавок и сказал:

— Где Хэндри? Куда вы дели Хэндри? К чему утайки, к чему зловещее молчание? Не обольщайте меня пастелью, не загораживайтесь мелками! Что с Хэндри, куда вы дели его?

Он едва не прибавил свистящим шепотом: «Или то, что от него осталось», когда ему стало стыдно, и добрые чувства вернулись к нему. Его охватила жалость к жалобному, испуганному автомату, он остановился на полуслове, замялся и попробовал подойти иначе. Быстро порывшись в кармане, он вынул конверты и карточки, на которых стояло его имя, и вежливо, если не смиренно, спросил, нельзя ли повидать заведущего отделом. После чего вручил карточку продавщице и сразу об этом пожалел.

У многострадального Мэррела была слабая сторона, напав на которую каждый мог вывести его из равновесия; вероятно, только такой напасти он и боялся. Ему противно было пользоваться привилегиями своего положения. Нельзя сказать, что он вообще его не ощущал; скорее уж он

слишком сильно ощущал его. Но он глубоко и твердо знал, что оправдать это положение можно только его не замечая. Кроме того, он стыдился и даже терзался: с одной стороны, ему нравилось, что он по случайности рожден в узком кругу избранников, с другой — как все мужчины, по-настоящему хотел равенства. Словом, смирить его могло именно такое напоминание, и он сразу пожалел, что на карточке есть и титул его отца и название клуба. Хуже того, они оказали свое действие. Девушка направилась к загадочному существу, которому посылала раньше сварливые фразы, существо тоже изучило карточку — вероятно, глаз его был зорче простых смертных, — и после суеты, подвластной лишь перу реалиста, Дугласа Мэррела ввели в кабинет какой-то важной особы.

— Удивительное у вас учреждение! — весело сказал Мэррел. — А все организация, организация. Если захотите, вы можете сравняться с мировыми фирмами.

Заведующий при всем своем уме легко поддавался лести и прежде, чем разговор свернет в сторону, объяснил, что они и так известны во всем мире.

— Этот Хэндри, — сказал Мэррел, — был человек

замечательный. Я его не знал, но моя приятельница, мисс Эшли, говорила мне, что он дружил с ее отцом и с многими художниками из круга Уильяма Морриса. Он изучал краску и с научной, и с художественной стороны. Кажется, прежде он был ученым, химиком, а потом увлекся изготовлением именно тех красок, которыми писали в средние века. У него была маленькая лавочка, там вечно толклись его друзья-художники. Он знал почти всех знаменитых людей, со многими из них дружил. Сами понимаете, такой лавочник вряд ли исчезнет без следа. Как по-вашему, можно разыскать его или его товар?

— М-да, — медленно сказал заведующий. — Наверное, он где-нибудь служит, у нас или в другой фирме.

— А… — вымолвил Мэррел и задумчиво замолчал.

Потом он произнес:

— Иногда думаешь, куда пропал какой-нибудь мелкий помещик. А он, глядишь, служит лакеем у герцога…

— Ну это не совсем то… — смущенно сказал заведующий, не зная, надо ему смеяться или нет. Потом он пошел в соседнюю комнату, чтоб справиться в адрес-календарях, предоставляя

посетителю думать, что он ищет Хэндри на букву «Х», тогда как он искал Мэррела на букву «М». Результаты исследований расположили его в пользу посетителя. Он снова нырнул в справочники, стал звонить в другие отделы и, потрудившись безвозмездно, напал на след. Надо отдать ему справедливость, пошел он по следу с энергией и отвагой книжного сыщика. Прошло немало времени, прежде чем он вернулся к Мэррелу, победоносно потирая руки и широко улыбаясь.

— Вы не зря хвалили нас, мистер Мэррел, — весело сказал он. — Организация — великая вещь.

— Надеюсь, я не внес дезорганизацию, — сказал Мэррел. — Просьба моя не из обычных. Мало кто спрашивает вас о друге умерших прерафаэлитов. Спасибо вам за хлопоты.

— Поверьте, — сказал любезный заведующий, — поверьте, нам только приятно, что наша система произвела на вас хорошее впечатление. Итак, я могу дать вам справку об этом Хэндри. Здесь служил такой человек. Работал он неплохо и много знал. Однако все это кончилось печально. Вероятно, он был немного не в себе… жаловался на головную боль и тому подобное. Во всяком случае, он пробил заведующим картину, стояв-

шую на мольберте. Насколько мне известно, ни в тюрьму, ни в больницу его, как ни странно, не посадили. Мы ведь зорко следим за жизнью наших служащих, проверяем, как у них что с полицией, и я думаю, он просто сбежал. Конечно, к нам его не возьмут, таким людям помогать бесполезно.

— Вы не знаете, где он живет? — мрачно спросил Мэррел.

— Нет. Кажется, отчасти в этом и было дело, — отвечал заведующий. — Почти все наши служащие тогда здесь и жили. Говорят, он ходил в «Пегую Собаку», а это само по себе плохо — мы предпочитаем, чтобы наши люди столовались в приличных местах. Вероятно, пьянство его и погубило. Такие не выправляются.

— Интересно, — сказал Мэррел, — что стало с его красками…

— О, с того времени техника ушла вперед! — сказал его собеседник. — Я был бы рад вам услужить, мистер Мэррел. Надеюсь, вы не подумаете, что я навязываю свой товар, но вряд ли вы найдете что-нибудь лучшее, чем наш «Королевский Иллюстратор». Он практически вытеснил другие наборы. Вы, конечно, и сами повсюду его видели. Он и полнее, и удобнее, и лучше всех прежних.

Он подошел к полке и почти беспечно вручил

Мэррелу какие-то пестрые листки. Мэррел на них взглянул, и брови его кротко, но быстро поднялись, ибо он увидел имя толстого дельца, с которым беседовал Брейнтри, большую фотографию Элмерика Уистера и его подпись, удостоверявшую, что лишь эти краски способны утолить жажду красоты.

— Как же, я с ним знаком, — сказал Мэррел. — Он вечно говорит о великих викторианцах. Интересно, знает ли он, что случается с их друзьями?

— Сейчас справлюсь, — откликнулся заведующий.

— Спасибо, — мечтательно проговорил Мэррел. — Лучше я куплю мелки, которые мне предлагала эта милая барышня.

И, вернувшись к ней, он важно и вежливо купил мелки.

— Что я еще могу для вас сделать? — с беспокойством спросил заведующий.

— Ничего, — с необычайной для себя мрачностью ответил Мэррел. — Вы действительно ничего не можете сделать. А, черт!.. Наверное, вообще ничего сделать нельзя.

— Простите? — заволновался заведующий.

— Голова у меня разболелась, — объяснил Мэр-

рел. — Наследственное, должно быть. Я не хотел бы повторить ту ужасную сцену… кругом картины… нет, спасибо. До свиданья.

И он, далеко не в первый раз, направился к «Пегой Собаке». В этом старом заведении ему неожиданно повезло. Он умело подвел беседу к разбитым стаканам, ощущая, что такой человек, как Хэндри, что-нибудь да разбил. Встретили Мэррела хорошо. Его простота и приветливость быстро создали именно ту атмосферу, в которой расцветают воспоминания. Девица за стойкой помнила джентльмена, который часто бил стаканы; хозяин помнил его еще лучше, ибо ему приходилось требовать за это деньги. Вдвоем они набросали удачный портрет бедно одетого человека с лохматыми волосами и длинными, подвижными пальцами.

— Вы не помните, — небрежно спросил Мэррел, — куда переехал мистер Хэндри?

— Он себя звал доктором Хэндри, — медленно сказал хозяин. — Не знаю почему… Наверное, была в его красках какая-то химия. Только он очень гордился, что он настоящий доктор, как в больнице. Да, не хотел бы я у него лечиться… Отравил бы красками.

— Конечно, по случайности? — мягко спросил

Мэррел.

— Ну да, — все так же медленно признал хозяин и прибавил позвонче: — А не все равно, случайно вас отравят или нет?

— Все равно, — кивнул Мэррел. — Интересно, куда он дел свои краски.

Тут девица вдруг стала общительной и сказала, что мистер Хэндри ясно называл один городок у моря. Она даже помнила улицу; и с этими сведениями путешественник почувствовал, что ему пора. Он дал беседе скатиться к болтовне и отправился в путь.

Однако прежде он зашел в банк, и к одному другу, и к своему адвокату. От каждого из них он выходил на одну ступень мрачнее.

День спустя он стоял на улице приморского городка, круто спускавшегося к морю. Ряды серых крыш походили на круги водоворота, словно море всасывало в себя сумрачный город, стремящийся к самоубийству. Так чувствует сломленный человек, что его смывает волна мира.

Мэррел дошел до самого крутого спуска, кидавшегося вниз в тихий водоворот улиц. Быть может, лучше назвать это тихим землетрясением. Ряды крыш поднимались, как гребни волн на уступах земли, так что трубы одной улицы

шли вровень с решетками и тротуаром другой, и казалось, что город уходит в воронку. Вокруг вздымались и опадали зеленые холмы, но они не вызывали того тошнотворного чувства, как нагромождение ровных, будничных улиц. Если бы улицы эти были красивей, они были бы пошлее. Если бы домики были разные и цветные, они походили бы на кукольный театр. Но холодные, серые жилища стояли на уступах, чья мрачность мешала им стать величественными. Крыши были и блестящими и тусклыми, словно в таком респектабельном месте всегда шел дождь. От сочетания одноцветной скуки с причудливостью рельефа Мэррел чувствовал себя как в дурном сне. Ему казалось, что приморский город болен морской болезнью; и у него кружилась голова.

Глава 9. ТАЙНА СТАРОГО КЕБА

За водоворотом крыш лежало море. Город словно бы корчился в предсмертной муке и море пришло как раз вовремя, чтобы его спасти. Охваченный мрачными фантазиями, Мэррел взглянул вверх и увидел название улицы — то самое, которое было ключом к его поискам.

Тогда он взглянул вниз, на резкий изгиб угрюмой улицы, но увидел лишь три признака жизни. Один стоял совсем рядом и был молочным кувшином, выставленным за дверь, вероятно, век тому назад. Другой был бродячим котом, не столько печальным, сколько ко всему безразличным, словно пес или странник, бредущий сквозь город мертвых. Третий, самый интересный, был кебом, и отличала его все та же почти зловещая старомодность. В провинции кебы еще не стали музейной редкостью; но этот вполне мог стоять в музее бок о бок со старинным паланкином, и даже походил на паланкин. Такие кебы еще встречаются в глуши — из темного полированного дерева, выложенные изнутри узором деревянных дощечек. Кузов был срезан

под необычным углом, а створчатые дверцы с обеих сторон создавали такое ощущение, словно ты заперт в старинном комоде. И все же это был именно кеб, неповторимый экипаж, в котором зоркий и чужой взгляд Дизраэли увидел гондолу Лондона. Все мы теперь знаем, что слово «усовершенствовали» означает «лишили неповторимых черт». У каждого есть автомобиль, но никто и не подумал приделать мотор к кебу; а с неповторимой его формой исчезло особенное очарование (вероятно, и вдохновившее Дизраэли): в кебе хватало места лишь двоим. Хуже того, исчезла особенность поистине дивная и английская: кучер вознесен почти в небеса. Что бы ни говорили о капитализме в Англии, оставался хотя бы один немыслимый экипаж, где бедняк сидел выше богача, как бы на троне. Где еще приходится нанимателю открывать в отчаянии окошко, словно он заперт в камере, и взывать, будто к неведомому богу, к невидимому пролетарию? Где еще отыщем мы такую точную притчу о нашей зависимости от низших классов? Никто не посмеет назвать низшим обитателя олимпийских высот. Всякому ясно, что он — властелин нашей судьбы, ведущий нас свыше. В спине человека, сидящего на насесте козел, всегда есть что-то особенное;

было оно и в спине этого кучера. Мэррел видел широкие плечи и кончики усов, вторившие провинциальной старомодности всей сцены.

Когда Мэррел подошел поближе, кучер, словно утомившись ожиданием, осторожно слез с насеста и остановился, глядя куда-то вниз. К той поре Мэррел развил до предела сыщицкий нюх в общении с великой демократией и сразу начал оживленную беседу, наиболее подходящую к случаю. Три ее четверти не имели ни малейшего отношения к тому, о чем Мэррел хотел узнать. Он давно открыл, что именно это — кратчайший путь к цели.

Мало-помалу он стал узнавать интересные для него вещи. Выяснилось, что кеб был музейной редкостью еще в одном смысле: он принадлежал вознице. Мэррел вспомнил первый разговор Оливии и Брейнтри о том, что шахта должна принадлежать шахтеру, как краски художнику, и подумал, не потому ли кеб сразу обрадовал его, что в нем заключена какая-то правда. Однако выяснилось не только это. Мэррел узнал, что вознице очень надоел его нынешний ездок, но он этого седока и боится. Надоело ему торчать подолгу то перед одним, то перед другим домом, а боится он потому, что возит человека, который

вправе заходить в чужие дома, словно он из полиции. Двигались они очень медленно, а сам седок был торопливым или, как сказали бы теперь, деловым. Можно было угадать, что он кликнул, а не позвал этот кеб. Он очень спешил, но у него хватало времени на то, чтобы застревать в каждом доме. Из всего этого можно было вывести, что он или американец, или начальство.

В конце концов выяснилось, что он врач, облеченный официальными полномочиями. Возница, конечно, не знал его имени, но не его имя было важно, а другое, которое возница как раз знал. Следующая остановка ползучего кеба была назначена чуть ниже, у дома, где жил один чудак, некий Хэндри, которого возница нередко встречал в кабачке.

Добившись окольным путем того, к чему он стремился, Мэррел бросился вниз по улице, как спущенная с поводка собака. Добежав до нужного дома, он постучал, подождал и очень нескоро услышал, что дверь медленно отпирают.

Наконец дверь чуть приоткрылась, и Мэррел прежде всего увидел неснятую цепочку. За нею, во мраке высокого и темного дома, слабо виднелось человеческое лицо. Оно было худое и бледное, но что-то подсказало Мартышке, что это

женщина, даже девушка. Когда же он услышал голос, он понял и другое.

Правда, голос он услышал не сразу. Сперва, увидев вполне приличную шляпу, девушка попыталась захлопнуть дверь. Она достаточно имела дела с приличными людьми и могла им ответить только так. Но Мэррел, как опытный фехтовальщик, заметивший слабое место, вонзил в щелку клинок слова.

Наверное, только эти слова могли спасти положение. Девушка, на свою беду, знала людей, сующих в щель ногу. Умела она и захлопнуть дверь так, чтобы ногу им прищемить или хотя бы спугнуть их. Но Мэррел вспомнил беседу в кабачке и сказал то самое, что никогда не слышали на этой улице, а сама девушка слышала очень давно:

— Дома ли доктор Хэндри?

Не хлебом единым жив человек, но вежливостью и уважением. Даже голодные живут вниманием к себе и умирают, его утратив. Хэндри очень гордился своим титулом, соседи в него не верили, а дочь была достаточно взрослой, чтобы его помнить. Волосы падали ей на глаза перьями погребальной колесницы, передник на ней был засаленный и рваный, как у всех в этом квартале,

но когда она заговорила, Мэррел сразу понял, что она помнит и что воспоминания ее связаны с твердостью традиций и жизнью духа.

Так Дуглас Мэррел оказался в крохотной передней, где стояла только уродливая подставка без единого зонтика. Потом его повели по крутой и тесной лестнице почти в полной тьме, и он внезапно очутился в душной комнате, обставленной вещами, которые уже нельзя продать и даже заложить. Там и сидел человек, которого он искал, как Стенли искал Ливингстона[43].

Голова доктора Хэндри походила на серый одуванчик; так и казалось, что она вот-вот облетит, и грязноватый пух поплывет по ветру. Сам же ученый был опрятней, чем можно было ожидать, наверное — потому, что аккуратно и тщательно застегивался до самого ворота; говорят, это принято у голодных. Он долгие годы жил в нищете, но все еще сидел почти на краешке стула, то ли по брезгливости, то ли из скромности. Забыться и накричать он мог, но, когда себя помнил, бывал безукоризненно вежлив. Заметив Мэррела,

---

43 notes: 43

…как Стенли искал Ливингстона. — Стенли Генри Мортон (1841—1904) — английский путешественник, отправившийся в 1871 г. в Африку на поиски английского путешественника Дэвида Ливингстона (1813—1873).

он сразу вскочил, словно марионетка, которую дернули за веревочку.

Если его тронуло обращение, его вконец опьянила беседа. Как все старики и почти все неудачники, он жил прошлым; и вдруг это прошлое ожило. В темной комнате, где он был заперт и забыт, словно в склепе, он услышал человеческий голос, спрашивающий краски для книжных миниатюр.

Пошатываясь на тонких ногах, он молча подошел к полке, где стояли самые несовместимые друг с другом предметы, взял старую жестянку, понес ее к столу и стал открывать дрожащими пальцами. В ней стояли две или три широкие и низенькие склянки, покрытые пылью. Увидев их, он снова обрел дар речи.

— Разводить их надо вот этой жидкостью, — говорил он. — Многие пытаются развести их маслом или водой… — хотя уже лет двадцать никто не пытался разводить их чем бы то ни было.

— Я скажу моей приятельнице, чтобы она была осторожна, — с улыбкой сказал Мэррел. — Она хочет работать по-старому.

— Вот именно!.. — воскликнул старик, вскидывая голову. — Я всегда готов дать совет… да, любой полезный совет. — Он откашлялся, и голос

его стал на удивление звучным. — Прежде всего надо помнить, что краски этого рода по своей природе непрозрачны. Многие путают сверкание с прозрачностью. Видимо, им припоминаются витражи. Конечно, и то, и другое — типично средневековое искусство, Моррис любил их одинаково. Но, помнится, он приходил в ярость, когда забывали, что стекло прозрачно. «Того, кто сделает на стекле непрозрачный рисунок, — говорил он, — надо посадить на это стекло».

Тут Мэррел снова задал вопрос:

— Вероятно, доктор Хэндри, ваши познания в химии помогали вам сделать эти краски?

Старик задумчиво покачал головой.

— Одна химия не помогла бы, — сказал он. — Тут и оптика, и психология. — Он уткнулся бородой в стол и громко прошептал: — Больше того, тут патология.

— Вон что!.. — откликнулся гость, ожидая, что будет дальше.

— Знаете ли вы, — спросил Хэндри, — почему я потерял покупателей? Знаете ли вы, почему я до этого дошел?

— Насколько я могу судить, — сказал Мэррел, сам удивляясь своему пылу и своей уверенности, — вас подло обошли люди, которым хотелось

сбыть собственный товар.

Ученый ласково улыбнулся и покачал головой.

— Это научный вопрос, — сказал он. — Нелегко объяснить его профану. Ваша приятельница, если я вас правильно понял, дочь моего друга Эшли. Таких родов осталось мало. По-видимому, их не коснулось вырождение.

Пока ученый с назидательной и даже высокомерной снисходительностью произносил эти загадочные фразы, посетитель смотрел не на него, но на девушку, стоявшую за ним. Лицо ее было много интересней, чем ему показалось в темноте. Черные локоны она откинула со лба. Профиль у нее был орлиный и такой тонкий, что поневоле вспоминалась птица. Все в ней дышало тревогой, а глаза смотрели настороженно, особенно — в эту минуту. Несомненно, девушке не нравилась тема разговора.

— Есть два психологических закона, — объяснял тем временем ее отец, — которые я никак не мог растолковать своим коллегам. Первый гласит, что болезнь иногда поражает почти всех, даже целое поколение, как поражала чума целую округу. Второй учит нас, что болезни пяти чувств родственны так называемым душевным болезням. Почему же слепоте к краскам быть

исключением?

— Вот что!.. — опять воскликнул Мэррел, внезапно выпрямляясь на стуле. — Вот оно что. Так… Слепота к краскам… По вашему мнению, почти все ослепли.

— Лишь те, — мягко уточнил ученый, — на кого воздействовали особые условия нынешнего исторического периода. Что же до длительности эпидемии и ее предполагаемой цикличности, это другой вопрос. Если вы взглянете на мои заметки…

— Значит, — перебил Мэррел, — этот магазин на целую улицу построили в припадке слепоты? И бедный Уистер поместил портрет на тысячах листков, чтобы все знали, что он ослеп?

— Совершенно очевидно, что наука в силах установить причину этих явлений, — отвечал Хэндри. — Мне кажется, пальма первенства принадлежит моей гипотезе…

— Скорее она принадлежит магазину, — сказал Мэррел. — Вряд ли барышня с мелками знает о научной причине своих поступков.

— Помню, мой друг Поттер[44] говаривал, — заметил ученый, глядя в потолок, — что научная

---

44 notes: 44

Поттер Джордж Уильям (1867—1941) — английский писатель и поэт.

причина всегда проста. Скажем, в данном случае всякий заметит, что люди сошли с ума. Только сумасшедший может решить, что их краски лучше моих. В определенном смысле так оно и есть, с ума люди сошли. Задача ученого — определить причину их безумия. Согласно моей теории безошибочный симптом слепоты к краскам…

— Простите, — сказала девушка и вежливо, и резко. — Отцу нельзя много говорить. Он устает.

— Конечно, конечно… — сказал Мэррел и растерянно встал. Он двинулся было к дверям, когда его остановило поразительное преображение девушки. Она все еще стояла за стулом своего отца. Но глаза ее, и темные, и сверкающие, обратились к окну, а каждая линия худого тела выпрямилась, как стальной прут. За окном, в полной тишине, слышался какой-то звук, словно громоздкий экипаж подъезжал к дому.

Растерянный Мэррел открыл дверь и вышел на темную лестницу. Обернувшись, он с удивлением заметил, что девушка идет за ним.

— Вы знаете, что это значит? — сказала она. — Этот скот опять приехал за отцом.

Мэррел стал догадываться, в чем дело. Он знал, что новые законы, применяемые лишь на бедных улицах, дали врачам и другим должностным

лицам большую власть над всеми, кто не угоден владельцам больших магазинов. Автор теории о повальной слепоте вполне мог подпасть под эти правила. Даже собственная дочь сомневалась в его разуме, судя по ее неудачным попыткам отвлечь его от любимой темы. Словом, все обращались с чудаком как с безумцем. Он не был ни чудаковатым миллионером, ни чудаковатым помещиком, выбыл из числа чудаковатых джентльменов, и причисление его к сумасшедшим не представляло трудности. Мэррел почувствовал то, чего не чувствовал с детства — полное бешенство. Он открыл было рот, но девушка уже говорила стальным голосом:

— Так всегда. Сперва толкают в яму, а потом обвиняют за то, что ты там лежишь. Это все равно что колотить ребенка, пока он не превратится в идиота, а потом ругать его дураком.

— Ваш отец, — сказал Мэррел, — совсем не глуп.

— Конечно, — отвечала она. — Он слишком умен, и это доказывает, что он безумен. Они всегда найдут, куда ударить.

— Кто это они? — спросил Мэррел тихо, но с неожиданной для него грозностью.

Ответил ему глубокий, гортанный голос из

черного колодца лестницы. Шаткие ступеньки заскрипели и даже затряслись под тяжестью человека, а освещенное пространство заполнили широкие плечи в просторном пальто. Лицо над ними напомнило Мэррелу то ли моржа, то ли кита; казалось, чудище выплывает из глубин, выставляя на свет круглую как луна морду. Взглянув на пришельца получше, Мэррел понял, что просто волосы у него почти бесцветны и очень коротко подстрижены, усы торчат как клыки, а круглое пенсне отражает падающий свет.

То был доктор Гэмбрел, прекрасно говоривший по-английски, но все же ругавшийся, спотыкаясь, на каком-то другом языке. Мэррел послушал секунду-другую и скользнул в комнату.

— Почему у вас света нет? — грубо спросил доктор.

— Наверное, я сумасшедшая? — спросила мисс Хэндри. — Пожалуйста; я согласна стать такой, как отец.

— Ну, ну, все это очень грустно, — сказал доктор с каким-то тупым сочувствием. — Но проволочками дела не выправишь. Лучше пустите меня к отцу.

— Хорошо, — сказала она. — Все равно придется.

Она резко повернулась и распахнула дверь в комнату, где находился Хэндри. Там не было ничего необычного, кроме разве беспорядка; врач тут бывал, а девушка почти не выходила оттуда лет пять. Однако даже врач почему-то озирался растерянно; а девушка изумленно осматривалась.

Дверь была одна; Хэндри сидел на том же месте; но Дуглас Мэррел исчез.

Прежде чем врач это понял, бедный химик вскочил со стула и пустился не то в оправдания, не то в гневные объяснения.

— Поймите вы, — сказал он, — я категорически протестую против вашего диагноза. Если бы я мог изложить факты ученому миру, я бы легко опроверг ваши доводы. По моей теории общество наше, благодаря особому оптическому расстройству…

Доктор Гэмбрел обладал той властью, которая больше всех властей на свете. Он мог ворваться в чужой дом, и разбить семью, и сделать с человеком что угодно; однако и он не мог остановить его речь. Лекция о слепоте к краскам заняла немало времени. Собственно, она длилась, пока врач тащил химика к двери, вел по лестнице и выволакивал на улицу. Тем временем совершались

дела, неведомые его вынужденным слушателям.

Возница, сидевший на верхушке кеба, был терпелив, и не мог иначе. Он довольно долго ждал у дома, когда случилось самое занимательное событие в его жизни.

Сверху, прямо на кеб, упал джентльмен, но не скатился на землю, а ловко выпрямился и оказался, к удивлению возницы, его недавним собеседником. Посмотрев на него, а потом на окно, возница пришел к выводу, что свалился он не с неба. Таким образом, явление это было не чудом, а происшествием. Те, кто видел полет Мэррела, могли догадаться, за что его прозвали Мартышкой.

Еще больше возница удивился, когда Мэррел улыбнулся ему и сказал, словно они не прерывали беседы:

— Так вот…

Теперь, после всего, что было с той поры, не нужно вспоминать, что он говорил, но очень важно, что он сказал. После первых учтивых фраз он твердо уселся верхом на крыше кеба, вынул бумажник, отважно склонился к вознице и доверительно произнес:

— Значит, я куплю у вас кеб.

Мэррел кое-что знал о новых законах, опре-

деливших течение последнего акта трагедии о красках. Он вспомнил, что даже спорил об этом с Джулианом Арчером, прекрасно в них разбиравшимся. Джулиан Арчер обладал качеством, незаменимым для общественного деятеля: он искренне возгорался интересом к тому, о чем пишут в газетах. Если албанский король (чья частная жизнь, увы, несовершенна) не ладил с шестой германской принцессой, вышедшей замуж за его родственника, Джулиан Арчер сразу же обращался в рыцаря и готов был ехать через всю Европу, чтобы ее защитить, нимало не заботясь о пяти принцессах, не привлекших внимания публики. Мы не поймем ни его, ни всего этого типа людей, если сочтем такой пыл фальшивым или наигранным. В каждом случае красивое лицо над столом горело истинным возмущением. А Мэррел сидел напротив и думал, что никто не станет общественным деятелем, если не способен горячиться одновременно с прессой. Думал он и о том, что сам он — человек безнадежно-частный. Он всегда ощущал себя частным человеком, хотя родные его и друзья занимали важные посты; но особенно, почти до боли сильно он это чувствовал, когда оставался мокрой льдинкой в пылающей печи.

— Как вы можете спорить? — кричал Арчер. —

Мы просто хотим, чтобы с сумасшедшими лучше обращались!

— Да, да, — невесело отвечал Мэррел. — Лучше-то лучше, но, знаете, многие вообще не стремятся в сумасшедший дом.

Вспомнил он и то, что Арчер и пресса особенно радовались частному характеру процедуры. Медик-чиновник решал все дело по-домашнему.

— Это завоевание цивилизации, — говорил Арчер. — Как с публичной казнью. Раньше человека вешали на площади. А теперь все тихо, прилично…

— Все ж неприятно, — ворчал Мэррел, — когда твои близкие исчезнут неизвестно куда.

Мэррел знал, что Хэндри везут к такому самому чиновнику. Хэндри, думал он, безумец английский, он заглушил горе увлечением, любимой гипотезой, а не вендеттой и не отчаянием. Хэндри, создавший краски, погиб; но он ведь счастлив, как Хэндри, создавший теорию. Теория была и у Гэмбрела. Называлась она спинномозговым рефлексом и доказывала умственную неполноценность тех, кто сидит на краешке стула. Гэмбрел собрал хорошую коллекцию бедняков и мог доказать с кафедры, что поза их говорит о шаткости их сознания. Но в кебе ему не давали

это доказывать.

Было что-то зловещее в том, как полз экипаж по серым приморским улицам. Мэррелу часто представлялось в детстве, что кеб может подползти сзади и проглотить тебя разверстой пастью. Лошадь была какой-то угловатой, темное дерево напоминало о гробе. Дорога спускалась книзу все круче и как бы давила на кеб, а кеб — на лошадь. Наконец они остановились перед воротами и увидели меж двух столбов серо-зеленое море.

Глава 10. ВРАЧИ РАСХОДЯТСЯ В МНЕНИЯХ

Дом, к которому подполз ползучий кеб, мало отличался от прочих домов. Нынешние учреждения стараются выглядеть как можно приватней. Чиновник особенно всемогущ именно потому, что не носит особой формы. Привезти человека в такой вот дом можно и без насилия; он и сам знает, что с его стороны всякое насилие бесполезно. Врач привык возить пациентов прямо в кебе, и они не сопротивлялись. До такого безумия они не доходили.

Новомодный сумасшедший дом появился в городе недавно; прогресс не сразу добрался до провинции. Служители, тихо томившиеся в вестибюле, чтобы открыть ворота и двери, были новичками если не в деле своем, то в этой местности. А начальник, сидевший где-то внутри, изучая папку за папкой, был новее всех. Он давно работал в таких домах и привык действовать быстро, тихо и четко. Но он старел, зрение его слабело, и слышал он хуже, чем ему казалось. Был он отставным военным хирургом, носил

фамилию Уоттон, тщательно закручивал седые усы и глядел на мир сонным взглядом, ибо достиг вечера жизни, а в данном случае — и вечернего времени суток.

На столе у него лежало много бумаг, в том числе — несколько заметок о том, что надо сделать в этот день. Из своего удобного кабинета он не слышал, как подъехал кеб, и не видел, как тихо и быстро кто-то управился с седоками. Тот, кто это сделал, был так вежлив, что никто и не спросил его о полномочиях: служителям он показался отполированным винтиком их машины, и даже врач подчинился движению его руки, указавшей ему путь в боковую комнатку. Если бы они чуть раньше посмотрели в окно и увидели, как безупречный джентльмен скатывается с кеба, они бы, вероятно, обеспокоились. Однако они не смотрели, и врач обеспокоился лишь тогда, когда джентльмен, с которым он вроде бы где-то встречался, не только закрыл за ним дверь, но и запер.

Начальник ничего не слышал, все совершалось с той беззвучной быстротой, с какой крутится волчок бюрократической рутины. Услышал он только стук в дверь и голос: «Сюда, доктор». Так оно обычно и бывало; сперва врач беседовал с на-

чальством, а потом (гораздо короче) — с жертвой. В этот вечер начальник надеялся, что обе беседы будут краткими. Не поднимая головы, он сказал:

— Случай девять тысяч восемьсот семьдесят первый… скрытая мания…

Доктор Хэндри с чрезвычайным изяществом склонил голову набок.

— Да, манию эту, как правило, скрывают, — сказал он. — Но не в том суть. Причина ее чисто физиологическая… чисто физиологическая… — Он изысканно откашлялся. — Стоит ли в наше время напоминать, что болезни органов чувств влияют на мозг? В данном случае я считаю, что все началось с самого обычного заболевания зрительного нерва. Путь, которым я пришел к такому заключению, интересен сам по себе.

Минуты через четыре стало ясно, что начальник так не думает. Он все еще глядел в бумаги и тем самым не видел посетителя. Если бы он взглянул вверх, его бы смутила удивительно ветхая одежда. Но он только слышал удивительно культурный голос.

— Нам незачем входить в подробности, — сказал он, когда посетитель изложил подробностей сто и собирался излагать их дальше. — Если вы уверены, что мания опасна, этого достаточно.

— За всю мою долгую практику, — торжественно сказал доктор Хэндри, — я ни в чем не был так уверен. Вопрос становится все серьезнее. Положение поистине угрожающее. Вот сейчас, когда мы тут беседуем, умалишенные гуляют на свободе и даже высказывают свое научное мнение. Не далее, как вчера…

Его напевную, убедительную речь заглушили странные звуки, словно какое-то грузное тело стало биться об дверь. Когда удары затихали, можно было услышать и крики, хотя голос осип от ярости.

— О, Господи! — воскликнул Уоттон, проснувшись и подняв голову. — Что это такое?

Доктор Хэндри изящно и скорбно поник головой, но улыбался по-прежнему.

— Печальны ваши обязанности, — сказал он. — Мы видим низшие, худшие проявления падшей природы человеческой… Уничиженное тело, как говорится в Писании. Вероятно, это один из несчастных, которых общество вынуждено охранять.

В эту минуту уничиженное, но тяжелое тело бросилось на дверь с особой прытью. Начальнику это не понравилось. Пациентов или узников (или как зовутся нынешние жертвы порядка)

нередко запирали в соседней комнатке, но их стерегли служители, не позволявшие выражать нетерпение так живо. Оставалось предположить, что нынешняя жертва, по своей живости, просто убила служителя.

Что-что, а храбрым старый хирург был. Он встал из-за стола и пошел к двери, сотрясавшейся под ударами. Поглядев на нее секунду-другую, он ее открыл, не выказывая страха; однако ловкость выказать ему пришлось, иначе его смело бы то, что вылетело из двери. У предмета этого были глаза, но они торчали как рога, и Уоттону показалось, что это подтверждает мнение о глазной болезни. Были у него и усы, необычайно взъерошенные, и такие волосы, словно он безуспешно подметал ими стену. Когда он выскочил в полосу света, Уоттон заметил белый жилет и серые брюки, каких не носят ни моржи, ни дикари.

— Что ж, он хотя бы одет, — пробормотал хирург. — Но не совсем здоров.

Грузный человек, ворвавшись в дверь, затих и дико озирался. Усы его торчали еще боевитей, чем прежде. Вскоре оказалось, что дара речи он не утратил. Правда, первые его замечания на неизвестном языке можно было принять за нечленораздельные звуки, но двое ученых разли-

чили в потоке слов научные термины. На самом деле врач отчитывался перед начальством, хотя догадаться об этом было трудно.

Положение у врача было нелегкое, и добрые, мудрые люди не станут защищать козней, жертвой которых он пал, а лишь порадуются в тиши. Он тоже создал теорию о том, почему его ближние сходят с ума. Он тоже мог описать психологию и физиологию своего пациента. Он мог поведать о спинномозговом рефлексе не хуже, чем поведал Хэндри о слепоте. Но условия у него были хуже. Когда волей Мэррела он оказался в ловушке, он вел себя так, как повел бы всякий полнокровный и самоуверенный человек, если бы с ним случилось то, что он считает невозможным. Именно благодушные, бойкие, важные люди с треском разбиваются о препятствия. С Хэндри все было наоборот. Он жалобно держался за свои изысканные манеры, ибо только этот обломок былого пронес сквозь унижения, и привык говорить с кредиторами мягко, а с полисменами — чуть снисходительно. Потому и случилось, что доктор-чиновник сопел, пыхтел и ругался, а доктор-изгой, склонив голову набок, тихо курлыкал, сокрушаясь о падшей природе человеческой. Хирург глядел на одного и на другого, потом оста-

новил взгляд на неспокойном, как останавливал его на многих опасных безумцах. Так встретились трое крупных ученых.

Перед домом, на улице, взбиравшейся вверх, словно в приступе безумия, Дуглас Мэррел сидел на верхушке кеба и глядел в небеса, как глядит человек, достойно выполнивший дело. Шляпа на нем была грязная и потрепанная. Он купил ее вместе с кебом, хотя и за деньги мало кто согласился бы ее носить. Однако она просто и блестяще сослужила ему службу. Когда все одеты одинаково, положение определяют по шляпе; и в ней Мэррел сходил за возницу старого кеба. Потом он снял ее, и, видя его гладкие волосы и безупречные манеры, служители не сомневались в том, что он — из господ. Здесь, на верхушке кеба, он снова ее надел, как надевает победитель лавровый венец.

Он знал, что будет, и спокойно ждал. Не досматривая на месте действа об изловленном чиновнике, он решил, что поговорит с властями, если оно зайдет слишком далеко, и почтительно покинул свое совершенное творение. Вскоре оказалось, что расчеты его правильны.

Доктор Хэндри, известный некогда среди художников, появился между столбами ворот. Он

был свободен, как чайка. Изящество его стало почти угрожающим, и весь его вид говорил о том, что он не выдаст доверенных ему профессиональных тайн. Натянув невидимые перчатки, он как ни в чем не бывало сел в кеб. Мудрый возница надвинул пониже шляпу и быстро повез его по крутым каменистым улицам.

Летописец не станет сейчас рассказывать, что было дальше в больнице. Даже сам Мэррел почему-то не хотел об этом думать. Он любил розыгрыши, но мы не поймем перемены в его жизни, если решим, что он просто подшутил над чужеземным врачом и этому радовался. Он радовался другому, и радость его была очень сильной, словно главное лежало впереди, а не позади; словно освобождение бедного безумца символизировало иную свободу и лучший, иной мир. Когда он свернул за угол, крутую улицу проре́зал солнечный луч, весомый, как лучи, проре́завшие весомые тучи на старых иллюстрациях к Библии. Мэррел посмотрел на окно высокого, узкого дома и увидел дочь Хэндри.

Девушка, глядевшая из окна, появляется в нашей повести впервые. До сих пор она была скрыта тенью, окутана мраком крутой лестницы и темного дома. Она была облечена в лишения; надо

жить в таком месте, чтобы знать, как меняют лишения облик человека. Она стала бледной, как растение, в тесноте и темноте дома, где нет даже тех зеркал, которые зовутся лицами. О наружности своей она давно забыла и очень удивилась бы, если бы сейчас увидела себя с улицы. Однако удивилась она и глядя на улицу. Красота ее расцвела, как волшебный цветок на балконе, не только потому, что на нее упал солнечный луч. Ее украсило то, что прекрасней всего на свете; быть может, лишь это на свете и прекрасно. Ее украсило удивление, утраченное в Эдеме и обретаемое на небе, где оно столь сильно, что не угасает вовек.

Чтобы объяснить, почему она удивилась, надо было бы рассказать ее историю, а история эта иная, чем наша повесть; она похожа на те научные, реалистические романы, которые мы не вправе называть романами. С того дня, как отца ее обокрали мерзавцы, слишком богатые, чтобы их наказать, она спускалась по ступенькам в тот мир, где всех считают мерзавцами и наказывают по очереди, а полиция ощущает себя стражей тюрьмы без крыши. Она давно к этому притерпелась; ей казалось естественным все, что толкало вниз. Если бы отца ее повесили, она горевала бы

и гневалась, но не удивлялась.

Когда же она увидела, что он едет улыбаясь в кебе, она удивилась. Никто еще на ее памяти не выходил из этой ловушки, и ей показалось, что солнце повернуло к Востоку, или Темза, остановившись в Гринвиче, потекла обратно, в Оксфорд. Однако ее отец улыбался, раскинувшись в кебе, и курил невидимую сигару, как натягивал немного раньше невидимые перчатки. Глядя на него, она видела краем глаза, что возница снимает перед ней шляпу, и благородство его движений к этой шляпе не подходит. И тут удивление ее достигло расцвета, ибо ей явились бесцветные, тщательно приглаженные волосы недавнего гостя.

Доктор Хэндри по-юношески ловко выскочил из кеба и машинально сунул руку в пустой карман.

— Что вы, не надо, — быстро сказал Мэррел, надевая шляпу. — Это мой собственный кеб, и езжу я для удовольствия. Искусство для искусства, как говорили ваши старые друзья.

Хэндри узнал вежливый голос, ибо есть вещи, которых человек не забывает.

— Дорогой мой друг, — сказал он, — я очень вам благодарен. Зайдите, пожалуйста.

— Спасибо, — сказал Мэррел, слезая с насеста. —

Мой скакун меня подождет. Он столько раз спал у моего шатра. Кажется, скакать он не хочет.

Он снова поднялся по темной и крутой лестнице, по которой, словно чудище, выплывал недавно из глубин прославленный психиатр. Психиатра он на минуту вспомнил, но решил, что теперь довольно трудно поправить дело.

— А он не вернется за отцом? — спросила девушка.

Мэррел улыбнулся и покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Уоттон — честный человек. Он понял, что отец ваш гораздо нормальнее, чем врач. А врач не захочет оповестить мир о том, как удачно он подражал буйно-помешанному.

— Тогда вы спасли нас, — сказала она. — Это удивительно.

— Гораздо удивительней, что вас вообще пришлось спасать, — сказал Мэррел. — Не пойму, что творится. Безумец ловит безумца, как вор ловит вора.

— Я знавал воров, — сказал доктор Хэндри, с неожиданной яростью закручивая ус, — но их еще не поймали.

Мэррел взглянул на него и понял, что рассудок вернулся к нему.

— Может, мы и воров поймаем, — сказал он, не

зная, что произносит пророчество о своем доме, и о своих друзьях, и о многом другом. Далеко, в Сивудском аббатстве, обретало форму и цвет то, что он счел бы выдумкой. Он об этом не знал; но и душа его обретала цвета, сияющие и радостные, как краски Хэндри. Ощущение победы достигло апогея, когда он взглянул вверх и увидел девушку в окне. Сейчас, в комнате, он наклонился к ней и сказал:

— Вы часто смотрите из окна? Если кто пройдет мимо…

— Да, — отвечала она. — Из окна я смотрю часто.

Глава 11. БЕЗУМНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ

Далеко, в Сивудском аббатстве, отыграли пьесу «Трубадур Блондель». Прошла она с небывалым успехом. Ее играли два вечера кряду; на третий день дали утреннее представление, чтобы не обижать школьников; и наконец усталый Джулиан Арчер с облегчением сложил доспехи. Злые языки говорили, что устал он от того, что успех выпал не на его долю.

— Ну, все, — сказал он Херну, который стоял рядом с ним в зеленом облачении изгнанного короля. — Надену что-нибудь поудобней. Слава Богу, больше мы так не нарядимся.

— Да, наверное, — сказал Херн и посмотрел на свои зеленые ноги, словно видел их впервые. — Наверное, не нарядимся.

Он постоял минуту, а когда Арчер исчез в костюмерной, медленно пошел в свою комнату, прилегавшую к библиотеке.

Не он один оставался после спектакля в каком-то оцепенении. Автор пьесы не мог поверить, что сам ее написал. Оливии казалось, что она зажгла

в полночь спичку, а та разгорелась полунощным солнцем. Ей казалось, что она нарисовала золотого и алого ангела, а он изрек вещие слова. В чудаковатого библиотекаря, обернувшегося на час театральным королем, вселился бес; но бес этот был похож на алого и золотого ангела. Из Майкла Херна так и хлестало то, чего никто и не мог в нем подозревать, а Оливия в него не вкладывала. Он с легкостью брал высоты, ведомые смиренному поэту лишь в самых смелых мечтах. Она слушала свои стихи, как чужие, и они звучали, как те стихи, которые она хотела бы написать. Она не только радовалась, она ждала, ибо в устах библиотекаря каждая строчка звучала лучше предыдущей; и все же это были ее собственные жалкие стишки. И ей, и менее чувствительным людям особенно запомнились минуты, когда король отрекается от короны и говорит о том, что злым властителям он предпочитает странствия в диком лесу.

Что может заменить певучий лепет
Древесных листьев утренней порой?
Я презираю все короны мира
И властвовать над стадом не хочу.
Лишь злой король сидит на троне проч-

но,
Врачуя стыд привычкой. Добродетель
Для знати ненавистна в короле.
Его вассалы на него восстанут,
И рыцарей увидит он измену,
И прочь уйдет, как я от вас иду. [45]

На траву упала тень, и Оливия, как ни была она задумчива, поняла, какой эта тень формы. Брейнтри, в прежнем своем виде и в здравом уме (который многие считали не совсем здравым), пришел к ней в сад.

Прежде, чем он заговорил, она взволнованно сказала:

— Я поняла одну вещь. Стихи естественней, чем проза. Петь проще, чем бормотать. А мы всегда бормочем.

— Ваш библиотекарь не бормотал, — сказал Брейнтри. — Он почти пел. Я человек прозаический, но мне кажется, что я слушал хорошую музыку. Странно это все. Если библиотекарь может так играть короля, это значит, что он играл библиотекаря.

— Вы думаете, он всегда играл, — сказала Оли-

---

45 notes: 45
Перевод Л. Слонимской.

вия, — а я знаю, что он не играл никогда. В этом все объяснение.

— Наверное, вы правы, — отвечал он. — Но правда ведь, казалось, что перед вами великий актер?

— Нет, — воскликнула Оливия, — в том-то и дело! Мне казалось, что передо мной великий человек.

Она помолчала и начала снова:

— Не великий в искусстве, совсем другое. Великий оживший мертвец. Средневековый человек, вставший из могилы.

— Я понимаю, о чем вы, — кивнул он, — и согласен с вами. Вы хотите сказать, что другую роль он бы сыграть не мог. Ваш Арчер сыграл бы что угодно, он — хороший актер.

— Да, странно все это, — сказала Оливия. — Почему библиотекарь Херн… вот такой?

— Мне кажется, я знаю, — сказал Брейнтри, и голос его стал низким, как рев. — В определенном, никому не понятном смысле он принимает это всерьез. Так и я, для меня это тоже серьезно.

— Моя пьеса? — с улыбкой спросила она.

— Я согласился надеть наряд трубадура, — ответил он, — можно ли лучше доказать свою преданность?

— Я хотела сказать, — чуть поспешно сказала Оливия, — принимаете ли вы всерьез роль короля?

— Я не люблю королей, — довольно резко ответил Брейнтри. — Я не люблю рыцарей, и знать, и весь этот парад вооруженных аристократов. Но он их любит. Он не притворяется. Он не сноб и не лакей старого Сивуда. Кроме него я не видел человека, который способен бросить вызов демократии и революции. Я это понял по тому, как он ходил по этой дурацкой сцене и…

— И произносил дурацкие стихи, — засмеялась поэтесса с беспечностью, редкой среди поэтесс. Могло даже показаться, что она нашла то, что ее интересует больше поэзии.

Одной из самых мужественных черт Брейнтри было то, что его не удавалось сбить на простую болтовню. Он продолжал спокойно и твердо, как человек, который думает со сжатыми кулаками:

— Вершины он достиг и владел всем и вся, когда отрекался от власти и уходил с копьем в лес. И я понял…

— Он тут, — быстро шепнула Оливия. — Самое смешное, что он еще бродит по лесу с копьем.

Действительно, Херн был в костюме изгнанника — по-видимому, он забыл переодеться, когда

ушел к себе, и сжимал длинное копье, на которое опирался, произнося свои монологи.

— Вы не переоденетесь к завтраку? — воскликнул Брейнтри.

Библиотекарь снова посмотрел на свои ноги и отрешенно повторил:

— Переоденусь?

— Ну, наденете обычный костюм, — объяснил Брейнтри.

— Сейчас уже не стоит, — сказала дама. — Лучше переодеться после завтрака.

— Хорошо, — отвечал отрешенный автомат тем же деревянным голосом и ушел на зеленых ногах, опираясь на копье.

Завтрак был не очень чинным. Все прочие сняли театральные костюмы, но прежние они еще не обжили. Дамы находились на полпути к вечернему блеску, ибо в Сивуде намечался прием, еще более пышный, чем тот, где воспитывали Брейнтри. Нечего и говорить, что присутствовали те же замечательные лица и еще многие другие. Был здесь сэр Говард Прайс, если не с белым цветком непорочности, то хотя бы в белом жилете старомодной деловой честности. Недавно он непорочно переметнулся от мыла к краскам, стал финансовым столпом в этой области и разделял

коммерческие интересы лорда Сивуда. Был здесь Элмерик Уистер в изысканном и модном костюме, украшенный длинными усами и печальной улыбкой. Был здесь мистер Хэнбери, помещик и путешественник, в чем-то совершенно приличном и совершенно незаметном. Был лорд Иден с моноклем, и волосы его походили на желтый парик. Был Джулиан Арчер, в таком костюме, который увидишь не на человеке, а на идеальном создании, обитающем в магазине. Был Майкл Херн, в зеленой потрепанной одежде, пригодной для короля в изгнании и непригодной здесь.

Брейнтри не любил условностей, но и он воззрился на эту ходячую загадку

— Я думал, вы давно переоделись, — сказал он.

Херн, к этому времени довольно унылый, спросил:

— Во что я переоделся?

— Да в самого себя, — ответил Брейнтри. — Сыграйте со свойственным вам блеском роль Майкла Херна.

Майкл Херн резко поднял свою почти разбойничью голову, несколько секунд пристально смотрел на Брейнтри и направился к дому, наверное — переодеваться. А Джон Брейнтри сделал то, что он только и делал на этих неподходящих ему

сборищах: пошел искать Оливию.

Беседа их была долгой и, в основном, частной. Когда гости ушли и вдали замаячил обед, Оливия надела необычайно нарядное лиловое платье с серебряным шитьем. Они встретились снова у сломанного памятника, где спорили в первый раз; но теперь они были не одни.

Библиотекарь Херн зеленой статуей стоял у серого камня. Его можно было принять за позеленевшую бронзу; но это был человек, одетый лесным отшельником.

Оливия сказала почти машинально:

— Вы никогда не переоденетесь?

Он медленно повернулся к ней и посмотрел на нее бледно-голубыми глазами. Потом, когда голос вернулся к нему с края света, он хрипло проговорил:

— Переоденусь?.. Не переоденусь?.. Не сменю одежд?..

Она что-то увидела в его остановившемся взгляде, вздрогнула и отступила в тень своего спутника, а тот властно сказал, защищая ее:

— Вы наденете обычный костюм?

— Какой костюм вы называете обычным?

Брейнтри неловко засмеялся.

— Ну, такой, как у меня, — сказал он, — хотя я

и не очень модно одеваюсь. — Он мрачно улыбнулся и прибавил: — Красный галстук можете не носить.

Херн внезапно нахмурился и негромко спросил, в упор глядя на него:

— А вы считаете себя мятежником, потому что носите красный галстук?

— Не только поэтому, — ответил Брейнтри. — Галстук — это символ. Многие люди, которых я глубоко уважаю, полагают, что он смочен кровью. Да, наверное, потому я и стал его носить.

— Так, — задумчиво сказал библиотекарь. — Поэтому вы носите красный галстук. Но почему вы вообще носите галстук? Почему все его носят?

Брейнтри, который всегда был искренен, ответить не смог, и библиотекарь продолжал, серьезно глядя на него, как глядит ученый на дикаря в национальном костюме.

— Ну вот… — все так же мягко говорил он. — Вы встаете… моетесь…

— Да, этих условностей я придерживаюсь, — вставил Брейнтри.

— Надеваете рубашку. Потом берете полоску полотна, оборачиваете вокруг шеи, как-то сложно пристегиваете. Этого мало, вы берете еще одну полоску, Бог ее знает из чего, но такого цвета,

какой вам нравится, и, странно дергаясь, завязываете под первой особым узлом. И так каждое утро, всю жизнь. Вам и в голову не приходит сделать иначе или возопить к Богу и разорвать свои одежды, словно ветхозаветный пророк. Вы поступаете так, потому что в такое же время суток многие предаются этим удивительным занятиям. Вам не трудно, вам не скучно, вы не жалуетесь. И вы зовете себя мятежником, потому что ваш галстук — красный!

— В чем-то вы правы, — сказал Брейнтри. — Значит, из-за этого вы и не торопитесь снять ваш фантастический костюм?

— Чем же он фантастический? — спросил Херн. — Он проще вашего. Его надевают через голову. Когда проносишь его день-другой, понимаешь, какой он удобный. Вот, например, — он нахмурившись посмотрел в небо, — пойдет дождь, подует ветер, станет холодно. Что вы сделаете? Побежите в дом и принесете всякие вещи, огромный зонтик, сущий балдахин, и плащ, и накидку для дамы. Но в нашем климате почти всегда нужно только закрыть голову. Вот и натяните капюшон, — он натянул свой, — а потом откиньте. Очень хорошо его носить, — тихо прибавил он. — Это ведь символ.

Оливия глядела вдаль, на уступчатые склоны, исчезающие в светлой вечерней дымке, словно беседа огорчила или утомила ее; но тут она обернулась, как будто услышала слово, способное проникнуть в ее мечты.

— Какой именно символ? — спросила она.

— Если вы смотрели из-под арки, — сказал Херн, — пейзаж был прекрасным, как потерянный рай. Дело в том, что он отделен, очерчен, словно картина в рамке. Вы отрезаны от него, и вам дозволяют на него взглянуть. Поймите, мир — окно, а не пустая бесконечность! Окно в стене бесконечного небытия. Сейчас мое окно — со мной. Надевая капюшон, я говорю себе: такой мир видел и любил Франциск Ассизский. Отверстие капюшона — готическое окно.

Оливия посмотрела на Джона Брейнтри и сказала:

— Помните, что говорил бедный Дуглас?.. Нет, это было как раз перед вами.

— Передо мной? — обеспокоился Брейнтри.

— Ну, перед тем, как вы пришли сюда впервые, — объяснила она, краснея и снова глядя на холм. — Он сказал, что ему бы пришлось смотреть в окошко для прокаженных.

— Самое средневековое окно — язвительно

сказал Брейнтри.

Человек в маскарадном костюме вспыхнул, словно ему бросили вызов.

— Покажите мне короля, — вскричал он, — короля милостью Божьей, который служил бы прокаженным, как Людовик Святой!

— Я не стану, — отвечал Брейнтри, — оказывать услуги королю.

— Тогда народного вождя, — настаивал Херн. — Святой Франциск был народным вождем. Если вы увидите здесь прокаженного, побежите вы к нему? Обнимете его?

— Скорее, чем мы с вами, — ответила Оливия.

— Вы правы, — сказал Херн, мгновенно трезвея. — Наверное, никто из нас на это не способен… А что, если миру нужны такие деспоты и такие демагоги?

Брейнтри медленно поднял голову и пристально посмотрел на него.

— Такие деспоты… — начал он, замолчал и нахмурился.

Глава 12. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЖ

На этом повороте спора сад огласился бодрым голосом Джулиана Арчера. Бывший трубадур, в ослепительном вечернем костюме, шел быстро, но вдруг остановился, глядя на Майкла Херна, и закричал:

— Вы что, никогда не переоденетесь?

Должно быть, шестое повторение этой фразы и свело библиотекаря с ума. Во всяком случае, он повернулся и возопил на весь сад:

— Нет! Никогда не переоденусь!

Он постоял, поглядел и продолжал немного тише:

— Вы любите все менять, вы живете переменами, а я меняться не хочу. Из-за перемены вы пали, и падаете все ниже. Вы знали счастливое время, когда люди были простыми, здравыми, здоровыми, настолько близкими к Божьему миру, насколько это возможно. Оно ушло от вас, а если возвращается на миг, вам не хватает разума удержать его. Я его удержу.

— Что он такое говорит? — спросил Арчер, слов-

но речь шла о животном или хотя бы о ребенке.

— Я понимаю, что он говорит, — угрюмо сказал Брейнтри. — Но он не прав. Мистер Херн, неужели вы сами в это верите? Почему вы называете здоровыми ваши средние века?

— Потому, — отвечал Херн, — что в них была правда, а вы погрязли во лжи. Я не думаю, что тогда не было греха и страданий. Я только думаю, что и грех, и страдания так и называли. Вы вечно толкуете о деспотах и вассалах, но ведь и у вас есть и насилие, и неравенство, только вы не смеете назвать их по имени. Вы защищаете их, давая им другие имена. У вас есть король, но вы говорите, что ему не разрешается править. У вас есть палата лордов, но вы сообщаете, что она не выше палаты общин. Когда вы хотите подольститься к рабочему или крестьянину, вы зовете его джентльменом, а это то же самое, что назвать его виконтом. Когда вы хотите подольститься к виконту, вы хвалите его за то, что он обходится без титула. Вы оставляете миллионеру миллионы и хвалите его за простоту, то есть за унылость, словно в золоте есть что-нибудь хорошее, кроме блеска. Вы терпите священников, когда они на священников не похожи, и бодро заверяете нас, что они могут играть в крикет. Ваши ученые

отрицают доктрину, то есть — учение, ваши богословы отрицают Бога. Повсюду обман, малодушие, низость. Все существует лишь потому, что само не признает себя.

— Быть может, вы и правы, — сказал Брейнтри. — Но я вообще не хочу, чтобы все это существовало. И если уж дошло до проклятий и пророчеств, ручаюсь, что многое умрет раньше вас.

— Умрет, — сказал Херн, глядя на него большими светлыми глазами, — а потом оживет. Жить — совсем не то, что существовать. Я не уверен, что король снова не станет королем.

Синдикалист что-то увидел во взгляде библиотекаря, и настроение его изменилось.

— Вы считаете, — спросил он, — что настала пора сыграть Ричарда I?

— Я считаю, — отвечал Херн, — что настала пора сыграть Львиное Сердце.

— Вот как! — проговорила Оливия. — Вы хотите сказать, что нам недостает единственной добродетели Ричарда?

— Единственная его добродетель в том, — сказал Брейнтри, — что он покинул Англию.

— Быть может, — сказала Оливия. — Но и он, и добродетель могут вернуться.

— Если он вернется, он увидит, что страна его изменилась, — сердито сказал синдикалист. — Нет крепостных, нет вассалов; даже крестьяне смеют смотреть ему в лицо. Он увидит то, что разорвало цепи, раскрылось, вознеслось. То, что наводит страх и на львиное сердце.

— Что же это такое? — спросила Оливия.

— Сердце человека, — ответил он.

Оливия переводила взгляд с одного на другого. Один воплощал все, о чем она грезила, и даже был одет в соответствующий костюм. Другой тревожил ее еще больше, ибо о том, что воплощал он, она не грезила никогда. Сложные ее чувства нашли исход в довольно странном восклицании:

— Хоть бы Дуглас вернулся!

Брейнтри недоверчиво взглянул на нее и спросил почти ворчливо:

— Зачем это?

— Вы все очень изменились, — сказала она. — Вы говорите как в пьесе. Вы благородны, возвышенны, смелы, у вас нет здравого смысла…

— Вот не знал, что у вас он есть, — сказал Брейнтри.

— У меня его нет, — отвечала она. — Розамунда меня за это ругает. Но у любой женщины его больше, чем у вас.

— Кстати, она идет сюда, — угрюмо сказал Брейнтри. — Надеюсь, она вас поддержит.

— Конечно, — спокойно согласилась Оливия. — Безумие заразительно, и зараза распространяется. Никто из вас не может выбраться из моей пьески.

Розамунда Северн и впрямь неслась по газону, решительно, как ветер, который вот-вот обратится в бурю. Буря эта бушевала часа два, и мы расскажем только об ее конце. Розамунда совершила то, на что почти никогда не решались ни она, ни кто другой, и за последнее время решился один лишь Дуглас Мэррел: она ворвалась в кабинет своего отца.

Лорд Сивуд поднял глаза от кипы писем и спросил:

— В чем дело?

Говорил он виновато и даже нервно, но, услышав его, все начинали нервничать и чувствовали себя виноватыми.

Однако Розамунда никогда не нервничала и не знала за собой вины. Она пылко вскричала:

— Какой ужас! Библиотекарь не хочет раздеваться!

— И прекрасно, — сказал Сивуд, терпеливо ожидая разъяснений.

— Это не шутка! — быстро продолжала его дочь. — Это Бог знает что! Он все еще в зеленом…

— Строго говоря, ливрея у нас синяя, — задумчиво произнес вельможа. — Но теперь это не так уж важно. Да и кто его видит, библиотекаря? В библиотеку ходят редко. А сам он… если не ошибаюсь, он очень тихий человек. Никто его и не заметит.

— Да? — с каким-то вещим спокойствием переспросила Розамунда. — Ты думаешь, его никто не заметит?

— Конечно, — сказал лорд Сивуд. — Сам я никогда его не замечал.

До сей поры лорд Сивуд оставался за кулисами пьесы и за гобеленами аббатства лишь потому, что он сторонился увеселений и, в полном смысле этих слов, блистал своим отсутствием. Причин тому было много, главные же — две: к несчастью, он постоянно хворал и был государственным мужем. Такие люди сужают свой мир, чтобы расширить сферу влияния. Лорд Сивуд жил в очень тесном мирке из любви к большим проблемам. Он увлекался геральдикой, историей знатных родов, и ему очень нравилось, что во всей Англии только человека два разбирались в этом. Точно так же относился он к политике,

к обществу и ко многому другому. Он никогда не говорил ни с кем, кроме знатоков, другими словами — доверял лишь меньшинству. Исключительные люди давали ему исключительно важные сведения, но он не знал, что делается у него дома. Иногда он замечал какие-то перемены, но не останавливал на них внимания. Если бы он заметил библиотекаря на верхней полке, он не стал бы его спрашивать, зачем он туда полез. Он вступил бы в переписку с знатоком полок, но лишь тогда, когда убедился бы, что это самый лучший знаток. Ссылаясь на греческую этимологию, он любил доказывать, что аристократ обязан владеть всем самым лучшим; и, отдадим ему справедливость, действительно держал в доме только лучшие сигары и лучшее вино, хотя здоровье и мода не позволяли ему ни пить, ни курить. Он был невысок, тщедушен, угловат, но умел пристально взглянуть на собеседника, что ошеломляло всякого, кто принимал его поначалу за дурака. Мы рассказываем об его скрытности, об его сосредоточенности и отрешенности, ибо, не понимая всего этого и этому не сочувствуя, нельзя будет понять того, что случилось с ним. Наверное, лишь он один мог не видеть, что творится в его собственном доме и как далеко это зашло.

Однако приходит час, когда и отшельник видит с горы флаги в долине. Приходит час, когда рассеяннейший из ученых видит из мансарды иллюминацию. Лорд Сивуд понял, что в его доме произошел переворот. Произойди переворот в Гватемале, он узнал бы о нем первым от гватемальского посла. Произойди он в Северном Тибете, он связался бы с Бигглом, ибо только тот *действительно* там побывал. Но когда переворот бушевал в его собственном саду, он не очень верил слухам, опасаясь, что они окажутся преувеличенными.

Недели через две он сидел в беседке и разговаривал с премьер-министром. Во всем саду он видел только премьера. Снобизма тут не было и в малейшей мере — себя он считал и знатнее, и важнее любых министров, хотя нынешний был графом Иденом. Но он умел сосредоточиться на том, чем был занят, и сейчас с торжественным благодушием слушал новости из внешнего мира. Послушать лорда Идена стоило; он был наделен тем чувством юмора, которое граничит с цинизмом, и смотрел на факты прямо сквозь хитросплетения слов. Его светлые волосы так не подходили к морщинистому худому лицу, что казались желтым париком. Говорил в основном

он, а хозяин слушал, как слушают донесения в главном штабе.

— Беда в том, — говорил лорд Иден, — что на их стороне появились убежденные люди. Это, в сущности, нечестно. Мы знали рабочих политиков. Они были точно такие же, как все. Их невозможно было оскорбить, их легко было подкупить, мы льстили им, хвалили их речи, находили им выгодное местечко — и все. А теперь пошли какие-то другие. Конечно, профсоюзы — те же самые. Они понятия не имеют, за что голосуют…

— Само собой, — величественно и грациозно кивнул лорд Сивуд. — Полные невежды…

— …как и мы, и вообще весь парламент, — продолжал лорд Иден. — Ни одно собрание не знает, чего хочет. Так вот, они называли себя социалистами или еще как-нибудь, а мы называли себя империалистами или как-нибудь еще, и все шло тихо. А теперь явился Брейнтри, он говорит всю их чушь по-новому, и нашей чушью его не проймешь. Обычно мы играли на Империи, но что-то разладилось. Повсюду люди из колоний, все их видят, сами знаете… Они ничуть не хотят за нас умирать, и с ними никто не хочет жить. В общем, эта романтика пошла прахом, и как раз тогда, когда у рабочих замаячило что-то романтическое.

— В этом Брейнтри есть романтика? — спросил лорд Сивуд, не подозревавший, что принимал его в своем доме.

— Есть ли, нет ли, они ее видят, — отвечал премьер-министр. — Собственно, не столько сами шахтеры, сколько другие союзы обрабатывающей промышленности. Потому я с вами и советуюсь. Оба мы интересуемся дегтем не меньше, чем углем, и я был бы счастлив услышать ваше мнение. Делу вредит масса мелких союзов. Вы знаете о них больше всех — кроме Брейнтри, пожалуй. Его не спросишь. А жаль…

— Действительно, — сказал лорд Сивуд, склоняя голову, — я получаю некоторый доход от здешних предприятий. Большинству из нас, как вам известно, пришлось заняться и делами. Предки наши ужаснулись бы, но это все же лучше, чем потерять земли. Должен признаться, что мои интересы больше связаны с побочными продуктами, чем, так сказать, с сырьем. Тем печальнее, что мистер Брейнтри избрал полем сражения эту область.

— Именно, полем сражения, — мрачно отвечал премьер. — Убивать они не убивают, но все прочее при них. То-то и плохо. Если бы они и впрямь восстали, их было бы легко усмирить. Но что сде-

лаешь с бунтовщиком, если он не бунтует? Сам Макиавелли[46] не ответил бы на такой вопрос.

Лорд Сивуд сложил длинные пальцы и откашлялся.

— Я не считаю себя Макиавелли, — с подчеркнутой скромностью сказал он, — но осмелюсь предположить, что вы спрашиваете у меня совета. Конечно, такие обстоятельства требуют немалых знаний, но я немного занимался этой проблемой, особенно — параллельными явлениями в Австралии и на Аляске. Начнем с того, что обработка отходов угольной промышленности…

— Господи! — воскликнул лорд Иден и пригнулся, словно в него кинули камень. Восклицание его было оправдано, хотя хозяин дома заметил причину позже, чем следствие.

Длинная оперенная стрела вонзилась в дерево беседки и трепетала над головой премьера. Сам премьер заметил ее раньше, когда она влетела из сада и пронеслась над ним, жужжа, как большое насекомое. Оба аристократа вскочили и с минуту глядели на нее. Потом более практичный политик увидел, что к ней привязана записка.

---

46 notes: 46

Макиавелли Николо ди Бернардо (1464—1527) — итальянский политический мыслитель и историк.

Глава 13. СТРЕЛА И ВИКТОРИАНЕЦ

Стрела, влетевшая с пением в беседку, открыла владельцу поместья, что мир изменился. Он не мог бы определить, почему и как изменился мир, да и мы почти не можем это описать. Собственно, началось с сугубо личного безумия одного мужчины; но, как нередко бывает, развитием своим все было обязано сугубо личному здравомыслию одной женщины.

Библиотекарь наотрез отказался сменить костюм.

— Да не могу я! — кричал он в отчаянии. — Не могу, и все. Я почувствовал бы себя так глупо, словно я…

— Словно вы?.. — повторила Розамунда, глядя на него круглыми глазами.

— Словно я на маскараде, — закончил он.

Розамунда рассердилась меньше, чем можно было ожидать.

— Вы хотите сказать, — медленно, как бы в раздумье, произнесла она, — что в этом костюме вы чувствуете себя естественней?

— Конечно!.. — возрадовался он. — Гораздо естественней! Сколько в нем естественных вещей, которых я и не знал! Естественно держать голову прямо, а я вечно сутулился. Я ведь держал руки в карманах, тут поневоле пригнешься. Сейчас я закладываю руки за пояс и чувствую, что вырос. И потом, посмотрите на это копье.

Херн еще не расстался с копьем, которое Ричард, лесной обитатель, носил всегда с собою; и сейчас он воткнул его в поросшую травой землю.

— Возьмите его, — воскликнул он, — и вы поймете, почему люди носили длинные палки — копье, пику, посох паломника и пастуха. Их можно держать, вытянув руку и закинув голову, словно на ней вырос гребень. На современную трость опираются, как на костыль. Нынешнему миру пристали костыли, ибо он — калека!

Вдруг он замолчал и посмотрел на нее во внезапном смущении.

— Но вы… я сейчас подумал, что вам пристало носить не копье, а скипетр… Простите меня… если вам все это не нравится…

— Я не знаю, — медленно и растерянно сказала она, утратив обычную решительность. — Я не совсем уверена, что мне это не нравится.

Ему сразу стало легче, но это не так уж легко

объяснить. Дело в том, что при всем львином величии, при всей отрешенности и гордом спокойствии его нового обличья, в нем не было ни малейшего вызова или, попросту говоря, наглости. Он просто робел, просто терялся при виде прежнего своего костюма. Словом, он так же не мог надеть его, как прежде не мог сменить.

Когда Розамунда неслась по газону к Херну, Оливии и Брейнтри, все на свете, включая самих спорщиков, сказали бы, что она мигом покончит с нелепым спором. Все сказали бы, что она отправит библиотекаря переодеться, словно непослушного ребенка, свалившегося в воду. Но странные, почти невероятные создания, люди, почти никогда не делают того, чего от них ждут. Если бы разумный человек представил себе заранее эту безумную повесть, он знал бы, какая из двух женщин больше рассердится на безумца. Он знал бы, что склонная к старине Оливия Эшли примет безумие, лишь бы оно было старинным, а ее современная рыжая подруга и разбираться не станет, старина это или нет, и увидит одно безумие.

Но разумный человек ошибся бы, что с ним нередко бывает. Оливия вечно мечтала; Розамунда жаждала двух вещей: простоты и действия.

Думала она медленно — и потому любила простоту. Загоралась она быстро — и любила действие.

Розамунда Северн была достойна короны и родилась под сенью короны, хотя и маленькой. Судьба определила ей действовать на фоне дивной декорации — реки, уступчатых холмов, старинного замка, — и средневековый маскарад не удивил ее. Отрешенному взору библиотекаря она казалась принцессой и в средневековом платье, и в современном. Но случайные дары рождения и даже красоты сбивают с толку. Если бы Херн лучше знал жизнь, он узнал бы довольно обычный характер. Сквозь зеленую долину и серое аббатство он увидел бы столы, машинки и скучные доклады. Сквозь простое прекрасное лицо и честные серые глаза он увидел бы невзрачных женщин, которых очень много в наши дни. Такая женщина возникает повсюду, где надо поддержать мечтателя-мужчину. Секретарем Морского Общества она твердо объясняет длинной веренице любопытных, что они не выживут без моря. Деятельницей Асфальтовой Компании она доказывает, что при новых тротуарах не нужны ни новые туфли, ни летний отдых. Только ее пылом держатся те, кто открыл нам, что «Потерянный рай» написал не Мильтон, а Карл II. Если

бы не она, не узнало бы успеха устройство для проветривания шляп. Всегда и везде ее отличают могучая простота и наивная одержимость. Всегда и везде она очень честна и не ведает сомнений.

Розамунду не только удивляло, но и утомляло душевное гостеприимство Мартышки. Она не могла понять, как он дружит и с Оливией, и с Брейнтри. Ей хотелось, чтобы кто-то что-то делал; а Мэррел не делал ничего. Когда же кто-то действительно сделал что-то, она обрадовалась и забыла подумать о том, что же именно он делает.

Внезапно, почти случайно, ее единственному оку открылось то, что и она могла понять, чему и она могла следовать. Несомненно, понять она это могла и потому, что это было как-то связано с традициями, хранить которые ее учили с детства. В отличие от отца она не интересовалась геральдикой; собственно, она не всегда замечала, что у нее есть отец. Но она была рада геральдике не меньше, чем отцу. Те, кто опирается на историю, помнят это хотя бы подсознательно. Как бы то ни было, вскоре все заметили, что она поддерживает безумие библиотекаря.

Мы уже знаем, что новость поистине поразила Сивуда, как гром с ясного неба. Точнее, то была

молния, влетевшая во мрак беседки и трепетавшая над головой гостя, пока хозяин не вынул ее. Оба лорда глядели в привязанную к ней записку, один — с большим терпением, другой — с меньшим. Авторы записки предлагали создать новый рыцарский орден; и аристократов волею судьбы коробило, что самовольные аристократы то и дело взывали к кастовой гордости. Предлагались и различные испытания, которые помогут миру серьезно принять рыцарство, хотя мы скажем, честности ради, что слова «самурай» здесь не было. Авторы объясняли, что лишь призыв к древней доблести и верности восстановит в стране порядок. Объясняли они и многое другое; но, с точки зрения двух престарелых политиков, все же не оправдывали самой стрелы.

Лорд Иден молчал; казалось, что он изучает документ внимательней, чем нужно. Лорд Сивуд издал несколько невнятных восклицаний и, повинуясь какому-то чутью, обернулся к двери. То, что он увидел в саду, на другой стороне газона, поразило его не меньше, чем поразили бы златокрылые ангелы.

Однако то были люди в старинных одеждах, многие из них держали луки, а главное — впереди стояла его собственная дочь в чудовищном,

рогатом, как буйвол, уборе и широко улыбалась.

Он никогда не думал, что здесь, рядом с ним, что-то может пойти неправильно, тем более — свихнуться; и чувствовал себя так, словно его ударил собственный ботинок или удушил галстук.

— Господи! — вскричал он. — Что это такое?

Чтобы понять его чувства, представьте себе, что кто-то выстрелил из рогатки и чуть не разбил бесценную вазу в доме коллекционера. Вазы могли крошиться вокруг него, не вызывая никаких чувств. Пристрастия человеческие загадочны и многочисленны. Лорд Сивуд коллекционировал премьер-министров. Беседка была для него священна, как храм, ибо в ней витали призраки политиков. Много раз судьба Империи решалась в этом игрушечном шалаше. Лорд Сивуд любил беседовать с общественными деятелями частно и даже тайно. Он был слишком горд и тонок, чтобы желать заметки в газете о том, что премьер-министр посетил его поместье. Но он просто холодел при мысли о заметке, сообщающей, что премьер-министр потерял в Сивуде глаз.

На мальчишек с рогатками он взглянул и бегло, и, конечно, презрительно. Он едва заметил, что одно лицо выделялось почти отталкивающей

серьезностью. То было худое лицо одержимого библиотекаря, по сравнению с которым все прочие казались пошлыми и даже смешными. Одни улыбались, кто-то смеялся, но это лишь углубило и негодование, и презрение аристократа. Конечно, друзья Розамунды снова ввели какую-нибудь глупую моду. Ну и друзья у нее, однако!..

— Надеюсь, вы заметили, — холодно, но спокойно сказал он, — что чуть не убили премьер-министра. Изберите себе другую забаву.

Он повернулся и пошел в беседку, удержав себя в границах приличия с незваными гостями. Но когда в тени плетеной крыши он увидел острый бледный профиль, все еще склоненный над бумагой, гнев его снова вырвался наружу. Ледяное лицо дышало бесконечным презрением, которое великий государственный муж только и может испытывать к низкой, но меткой шутке. Молчание походило на ледяную пропасть, куда канули бы без ответа любые мольбы о прощении.

— Просто не знаю, что сказать, — в отчаянии проговорил Сивуд. — Я их выгоню с девчонкой вместе… Все, что в моих силах…

Премьер-министр не поднял глаз. Он все так же холодно глядел в бумагу. Иногда он хмурился, иногда — поднимал брови, но губы его не шеве-

лились.

Лорда Сивуда охватил ужас, неведомый ему самому. Ему показалось, что он нанес оскорбление, которого не смыть и кровью. Молчание мучило его, и он заговорил:

— Бога ради, бросьте вы эту пакость! Конечно, это очень смешно, но мне-то не смешно, в моем доме… Вы же не думаете, что я разрешу оскорблять моих гостей, тем более — вас. Скажите, чего вы хотите, я все сделаю.

— Так, — сказал премьер-министр и медленно положил бумагу на круглый столик. — Вот она, последняя надежда!

— Простите? — переспросил его растерянный друг.

— Наша последняя надежда, — повторил Иден.

В сумрачной беседке воцарилась такая тишина, что стали слышны и жужжанье мухи, и голоса бунтовщиков. Воцарилась она случайно, но Сивуд возмутился всей душой, словно в тишине творилась судьба и надо было разрушить чары.

— Что вы хотите сказать? — спросил он. — Какая надежда?

— Та самая, о которой вы толковали десять минут тому назад, — с мрачной улыбкой отвечал премьер. — Я ведь об этом и говорил, когда стре-

ла влетела, словно голубь с масличной ветвью. Я говорил, что бедная старая Империя совсем выдохлась и нужно что-то новое. Я говорил, что Брейнтри с его демократией надо противопоставить такой же явственный идеал. Ну вот.

— Что вы такое говорите? — спросил Сивуд.

— Я говорю, что их надо поддержать! — крикнул премьер-министр и ударил кулаком по столику с силой, почти оскорбительной в таком сухоньком создании. — Надо им дать коней, людей, оружие, а лучше всего — деньги, деньги и деньги! Надо помочь, как мы еще никому не помогали. Господи, да ведь я, старик, дожил до этого! Мне дано увидеть, как дрогнут ряды врага и кавалерия пойдет в атаку! Надо помочь им, и чем раньше, тем лучше. Где они?

— Неужели вы думаете, — воскликнул удивленный Сивуд, — что эти дураки на что-нибудь годятся?

— Предположим, что они дураки, — сказал Иден. — Но я-то не дурак и знаю, что без дураков не обойтись.

Лорд Сивуд сдержался, но все же глядел удивленно.

— По-видимому, вы хотите сказать, что новая полиция… народная или, вернее, — антинарод-

ная…

— И то, и то, — откликнулся премьер. — А что тут такого?

— Не думаю, — сказал Сивуд, — что народ выкажет интерес к этим сложным и даже ученым рассуждениям о рыцарстве.

— А вы думали когда-нибудь, — спросил премьер-министр, — о том, откуда во многих языках произошло слово «рыцарь»?

— В переносном смысле? — спросил Сивуд.

— В конском смысле, — отвечал Иден. — Людям нравится человек на коне, что бы он ни делал. Дайте народу развлечения — турниры, скачки, panem et circenses[47] — и он полюбит полицию. Если бы мы могли мобилизовать бега, мы бы предотвратили потоп.

— Я немного начинаю понимать, — сказал Сивуд, — что вы имеете в виду.

— Я имею в виду, — отвечал его друг, — что народу гораздо важнее конское неравенство, чем людское равенство.

Быстро переступив через порог, он пошел по саду внезапно помолодевшей походкой, и его хозяин еще не успел шевельнуться, когда услы-

---

47 notes: 47
хлеба и зрелищ (*лат.*)

шал звонкий голос, подобный голосу великих викторианских ораторов.

Так библиотекарь, отказавшийся сменить одежду, изменил страну. Из этого ничтожного и нелепого случая и родилась революция или, вернее, реакция, изменившая лик Англии и повернувшая ход истории. Как и все английские революции, особенно — консервативные, она бережно сохранила те силы, которые силу утратили. Самые старенькие консерваторы говорили даже о конституционной борьбе с конституцией. Монархический строй оставался как был, но на практике страну поделили между тремя или четырьмя властелинами поменьше, которые правили огромной областью вроде наместников и назывались, во вкусе времени, боевыми королями. Они обладали и священной неприкосновенностью герольдов, и властью государей; а под их началом находились отряды молодых людей, называвшиеся рыцарскими орденами и выполнявшие функции йоменов или ополченцев. Королевский двор вершил высший суд, в соответствии с разысканиями Херна. Все это было не только карнавалом, но сюда устремилась та народная страсть, которая порождала некогда карнавалы; тот голод очей и воображения, с

которым так долго пытались справиться и пуританство, и новый, промышленный уклад.

Это было не только карнавалом, значит — было не только модой, но, подобно моде, знало ступени и неожиданные повороты. Вероятно, главный поворот произошел тогда, когда Джулиан Арчер (теперь — сэр Джулиан, рыцарь) понял как следует, что должен вести моду, если не хочет от нее отстать. Все мы, видевшие много поветрий, знаем этот неопределимый, но очень определенный миг. Он бывает везде, от женских прав до женских причесок, и отделяет новую моду от моды как таковой. До него модных людей может быть сколь угодно много, но они заметны; после него заметен только тот, кто моды не принял. Сэр Джулиан появляется именно в этот миг, как появился он и сейчас, сверкающим и бесстрашным рыцарем.

Рыцарь этот был слишком тщеславен, чтобы не быть простодушным, и слишком простодушен, чтобы не быть искренним. Изменения в обществе, называемые модой, и возможны лишь потому, что в людях есть две смешные черты. Во-первых, с каждым человеком так много случается, что он всегда вспомнит хоть что-нибудь, предвещавшее нынешний поворот. Во-вторых,

почти все неправильно видят прошлое, и в смещенной памяти эта деталь кажется необычайно важной.

Как мы уже говорили, Джулиан Арчер написал когда-то совершенно детскую повесть о битве при Азенкуре. Он делал очень много другого, и гораздо успешней. Но теперь ему все больше казалось, что новую моду породил он.

— Меня не стали бы слушать, — говорил он, печально качая головой. — Я пришел слишком рано… Конечно, Херн много читает, это его дело… Он видит все книги, какие только выйдут. А чутья у него хватит, чтобы подхватить мысль…

— Вот оно что!.. — сказала Оливия, в тихом удивлении поднимая черные брови. — Никогда бы не подумала.

И она стала грустно и насмешливо размышлять о своей любви к старине, которой сперва дивились, потом подражали, чтобы забыть о ней теперь.

То же самое произошло и с сэром Элмериком Уистером, отважным, хотя и престарелым рыцарем. Прежде этот эстет превозносил в гостиных великих викторианцев, которые, в свою очередь, превозносили великих художников средневековья. Теперь он превозносил этих художников

сам. Он с легкостью убедил себя, что былая снисходительность его к Чимабуэ[48], Джотто[49] и Боттичелли[50] была гласом вопиющего в пустыне, пролагавшим дорогу помазаннику Нового средневековья.

— Дорогой мой, — доверительно говорил он, — тогда царил чудовищный, варварский вкус. Не знаю, как я и выжил… Но я был тверд, и, сами видите, усилия мои не ушли бесследно. Если бы не я, все просто не знали бы, как одеться… погибли бы самые картины, с которых теперь берут костюмы. Вот что значит сказать вовремя слово…

Даже лорд Сивуд изменился примерно так же. Почти незаметно для него увлечения его сместились. Он больше говорил о геральдике, меньше — о политике; меньше восхвалял Пальмерстона,

---

48 notes: 48

Чимабуэ, настоящее имя — Ченни ди Пено (1240 — ок. 1302) — итальянский живописец; Честертон видел его фрески в Ассизи, на родине св. Франциска.

49 notes: 49

Джотто ди Бондоне (1266—1337) — итальянский живописец, расписывал флорентийские церкви на темы, из жития св. Франциска.

50 notes: 50

Ботичелли, настоящее имя Алессандро ди Мариано Филипелли (1445—1510) — итальянский художник, представитель раннего Возрождения. О Джотто и Ботичелли см. эссе Честертона «Споры о Диккенсе» (сб. «Вкус к жизни»).

больше — Черного Принца[51], к которому возводил свой род. Как и все, он трогательно верил в то, что именно он породил Львиную Лигу и воскресил Львиное Сердце. Особенно поддерживало в нем эту веру новое установление — Щит Чести, которым намеревались вскоре наградить отважнейшего из рыцарей в его собственном парке.

Не менялся лишь один Херн. Как многие мечтатели, он мог быть счастливым в полной безвестности, но не мог измерить или понять собственной славы. Прежде он ходил на край сада; почему же не дойти ему до края света? Он не ведал ступеней величия. Теперь он был вождем, и переход от одиночества к власти очень радовал его. Но он не различал власти в доме и власти в стране; тем более что именно в доме глядел на единственное лицо, чьи изменения были для него подобны восходу и закату солнца.

51 notes: 51

Черный Принц. — Эдуард, принц Уэлльский (1330—1376), старший сын Эдуарда III. Называют так и другого Эдуарда (1453—1471), тоже принца Уэлльского, которому друг Честертона Морис Беринг посвятил пьесу.

Глава 14. ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРАНСТВУЮЩЕГО РЫЦАРЯ

Когда под давлением Брейнтри и его партии начались всеобщие выборы, Майкл Херн отправился на избирательный пункт, вошел в кабинку и прочно застрял там. Он никогда не голосовал, ибо хетты не знали голосования; но когда ему объяснили, что надо поставить крестик против имени любезного тебе кандидата, пришел в восторг. Конечно, хеттов он теперь оставил и занимался одним средневековьем; однако он выделил время для почти пустой формальности, хотя мог бы стрелять из лука в голову сарацина. Через час-другой Арчер и его присные начали волноваться. Они принялись колотить в дверь ногами и наконец ворвались в кабинку, где увидели длинную, неподвижную спину, склоненную, как у исповедальни. Пришлось грубо нарушить беседу гражданина с его гражданским долгом, потянув избирателя за край камзола. Это не помогло, и они, в самом недемократическом, но

анархическом духе, заглянули избирателю через плечо. Тогда и обнаружилось, что он расставил на полочке одолженные у Оливии краски — золотую, серебряную, всех цветов радуги — и, словно средневековый монах, терпеливо рисует светлый, сияющий крест. По одну его сторону плыли три синих рыбы, по другую летели три алых птицы, внизу цвели цветы и вершили свой ход планеты. По-видимому, Херн взял за образец славословие святого Франциска[52]. Когда его прервали, он удивился, но только вздохнул, узнав, что голос его недействителен, так как он испортил бюллетень.

Однако людям на улице казалось, что и крестика было бы много. Странность этих выборов в том и состояла, что они были очень важны, потому что другое было важнее; они будоражили ум и сердце, потому что все думали о другом. Такими были бы выборы во время революции; собственно, такими они и были, революция началась.

Штаб забастовки, объединившей тех, кто работал в красильной промышленности, а частью — и тех, кто был связан с углем и дегтем, находил-

---

52 notes: 52

...славословие св. Франциска. — Речь идет о т. н. «Песни Солнцу», в которой св. Франциск благодарит Господа за все вещи мира и всякую тварь земную.

ся в Милдайке; вождем забастовки был Джон Брейнтри. Но она никак не была ограниченной и местной. Она не была одной из тех забастовок, на которые обеспеченный класс ворчит так часто, что неудобства их стали для него привычнее удобств. Такого еще не бывало, и обеспеченный класс вполне обоснованно и даже разумно лопался от злости.

В тот самый час, когда Херн рисовал крест в кабинке, Брейнтри оглашал громовой речью главную площадь Милдайка. То была лучшая его речь, сенсационная не только по форме, но и по содержанию — Брейнтри требовал уже не признания, а контроля.

— Ваши хозяева твердят вам, — говорил он, — что вы жадные материалисты. Они правы. Ваши хозяева твердят вам, что у вас нет идеалов, нет тяги к славе, воли к власти. Они правы. Вы — рабы для них, вьючный скот, ибо вы только жуете и не ведаете ответственности. Они правы, и будут правы, пока вы требуете денег, пищи, честной оплаты. Покажем им, что мы поняли их урок. Покаемся; исправимся; отрешимся от мелочного любостяжания. Скажем им, что у нас есть воля к власти. Скажем, что у нас есть идеалы, что мы жаждем и алчем ответственности. Радость и

слава наша в том, чтобы править праведно, где они правили неправедно, и устроить, что они расстроили. Мы, товарищи и рабочие, будем прямо и просто управлять нашей собственной промышленностью, которая служила прежде лишь тому, чтобы несколько паразитов жили в роскоши своих дворцов.

После этой речи между Брейнтри и дворцами разверзлась бездна. Более того: такие требования восстановили против него многих людей, во дворцах не обитавших. Столь явная и безумная мятежность могла найти отклик лишь в тех, кто и прежде считал себя мятежником; а истинных мятежников мало. Общее мнение выразил приятель Розамунды, Хэнбери, человек добродушный и разумный: «Да ну их, честное слово! Я за высокую плату, сам хорошо плачу лакею и шоферу. Но при этом контроле шофер повезет меня в Маргейт, когда я хочу в Манчестер. Лакей чистит мой костюм и может мне что-то посоветовать. Но при этом контроле я обязан носить желтые брюки с розовым жилетом, если ему захочется».

На следующей неделе пришли вести о результатах двух выборов. Во вторник Херн узнал, что огромным большинством, состоящим из рабочих, выбран Брейнтри. А в четверг, ослеплен-

ный внутренним светом, он услышал о том, что рыцарские ордена и выборные коллегии единодушно и восторженно избрали его самого боевым королем западных английских земель. Как во сне прошел он, ведомый эскортом, к высокому трону, на зеленое плоскогорье парка. По правую руку от него стояла Розамунда Северн, дама нового ордена. Она держала сердцевидный Щит Чести, украшенный золотым львом и предназначенный рыцарю, который совершит самый отважный подвиг. Стояла она как статуя, и немногие догадались бы, как хлопотала она и распоряжалась вплоть до этого часа и как походили ее хлопоты на прежние, театральные. По левую руку стоял ее приятель, которого она некогда познакомила с Брейнтри. Вид у него был важный, он уже миновал пору смущения, и средневековый костюм стал для него естественным, как офицерская форма. Держал он так называемый меч св. Георгия, причем — рукояткой кверху, ибо Майкл в одном из своих прозрений сказал: «Человек недостоин носить меч, если не держит его за лезвие. Пусть рука его истекает кровью; зато он видит крест». Херн сидел на троне, над геральдической толпой, и взор его витал над холмистой далью. Так многие фанатики витали высоко над столь же

нелепыми сценами; так Робеспьер в голубом камзоле шествовал на праздник Верховного Существа. Лорд Иден уловил отрешенный взор светлых глаз, сияющих, как тихая гладь озера, и подумал: «Он сумасшедший. Для таких людей опасно осуществление их мечты. Но безумием одного можно спасти многих».

— Ах, хорошо! — вскричал сэр Джулиан и шлепнул по рукоятке меча с тем апломбом, который так радовал и утешал его собеседников. — Ну и денек! Мир услышит о нем. Они там узнают, что мы взялись за дело! Брейнтри и его бездельники разбегутся как мыши!

Розамунда стояла улыбающейся статуей, а подруга за ее плечом казалась ее тенью. Но сейчас Оливия заговорила.

— Он не бездельник, — сказала она, и голос ее зазвенел. — Он инженер, и знает больше, чем вы. Кто вы такие, если уж на то пошло? По-моему, инженер не хуже библиотекаря.

Настало мертвое молчание. Джулиан развел руками и взглянул вверх, словно ожидая кары небесной за такое кощунство; но дамы и рыцари глядели вниз, на свои остроносые башмаки, ибо они знали, что это — дурной тон, который хуже любых кощунств.

Король не покидал трона и не замечал оскорбившей его женщины. Он грозно взглянул на Джулиана Арчера, и невольный трепет подсказал всем, что, по крайней мере, один человек верит в королевскую власть.

— Сэр Джулиан, — строго сказал король, — вы не поняли рыцарских уставов. Вы не знаете, что вернулись те прекрасные дни, когда противника не поносили. Олень и благородный вепрь, царственные звери, могли обратиться и растерзать охотника. Мы почитаем наших врагов, даже если они — звери. Я знаю Джона Брейнтри; я не знаю человека отважнее его. Неужели, сражаясь за свою веру, мы будем издеваться над тем, кто сражается за свою? Идите и убейте его, если посмеете. Если же он убьет вас, смерть вас прославит, как обесчестил язык.

Особое ощущение (или наваждение) околдовало всех хотя бы на минуту. Он говорил совершенно свободно, сам от себя, но всем показалось, что это — воскресший король средних веков. Точно так же Ричард Львиное Сердце мог

бы говорить рыцарю, оскорбившему Саладина[53].

Но еще удивительней было другое. Бледное лицо Оливии Эшли вспыхнуло, а из уст ее вырвался не то возглас, не то вздох:

— Ах, и правда началось!..

И с этой минуты она стала двигаться легко, словно сбросила бремя. Она как бы очнулась, увидела впервые прекрасный танец, подобный прежним ее мечтам, и присоединилась к нему. Темные глаза ее сияли, будто она что-то вспомнила. Чуть позже она заговорила с подругой и прошептала ей, как секрет:

— Он так и думает! Он все понимает! Он не прислужник и не хвастун, он верит в добрые старые дни… и в добрые новые дни.

— Конечно, так и думает! — гневно воскликнула Розамунда. — Конечно, верит! Если бы ты знала, что было со мной, когда я увидела дела. У нас ведь только болтали, и Дуглас, и Джулиан, все. И прав, что верит! Как можно над ним смеяться? Уродливые костюмы смешней красивых. Смеяться надо было тогда, когда мужчины но-

---

53 notes: 53

Саладин (1138—1193) — султан из династии Айюбов, во главе объединенных войск мусульманских стран завоевал Египет и Сирию, потерпел поражение в битвах с Ричардом I, в том числе под Арзуфом в 1191 г. Прославился благородством и мудростью.

сили брюки! — И она долго защищала его с тем пылом, с каким практичная женщина повторяет чужие мысли.

Оливия смотрела между тем с зеленой высоты на длинную дорогу, растворявшую свое серебро в меди и золоте заката.

— Как-то меня спросили, — сказала она, — верю ли я, что вернется король Артур. Сейчас, в такой вечер… представь себе, что вдали, на дороге, появится рыцарь и привезет нам весть от него…

— Странно, что ты это говоришь, — сказала разумная Розамунда. — Там и правда кто-то едет… кажется, он на коне.

— Скорей за конем, — тихо сказала Оливия. — Солнце, ничего не разглядишь… Какая-то римская колесница… Кажется, Артур был римлянин?

— Удивительный у него вид… — сказала Розамунда, и голос ее тоже изменился.

Вид у королевского вестника и впрямь был удивительный. По мере его приближения изумленным взорам средневековой толпы все четче являлась дряхлая колесница кеба, увенчанная человеком в дряхлой шляпе. Наконец возница снял ее, приветствуя собрание, и все увидели простое лицо Мартышки.

Дуглас Мэррел снова надел набекрень засален-

ную шляпу и скатился с кеба. Не всякий скатится с кеба достойно, но ему это удалось. Шляпа слетела, он ловко поймал ее и направился прямо к Оливии.

— Ну вот, — сказал он без малейшего смущения. — Краску я вам привез.

Собрание взирало на его брюки, воротничок и галстук (особенно занимательные на лету), и чувство у всех было такое, какое бывает, когда увидишь старомодный костюм. Примерно это ощущал и он, впервые увидев кеб, хотя кебы совсем недавно ползали по Лондону. Мода затвердевает быстро, и быстро привыкают люди.

— Мартышка! — чуть не задохнулась Оливия. — Где же вы были? Неужели вы ничего не слышали?

— Такую краску сразу не найдешь, — скромно ответил Мэррел. — А с тех пор, как у меня кеб, я подвозил людей по дороге. Но краску я достал, вот она.

Только тут он заметил, как странно все вокруг, хотя контраст был так велик, словно он, подобно пресловутому янки, скатился из современной жизни во двор короля Артура.

— То есть она в кебе, — продолжал он. — Такая самая, как вы хотели. Господи, неужели они еще

играют? «Назад к Мафусаилу»[54], а? Я знал, что перо у вас плодовитое, но чтобы играть больше месяца…

— Это не пьеса, — отвечала она, не сводя с него удивленного взора. — Началось с пьесы, но теперь мы уже не играем

— Очень жаль, — сказал Мэррел. — Я тоже повеселился, но были и не очень веселые дела. Где премьер? Я бы хотел поговорить с ним.

— Всего сразу не расскажешь! — почти нетерпеливо вскричала она. — Неужели вы не знаете, что больше нет никаких премьер-министров? Тут правит король.

Дуглас Мэррел принял это спокойнее, чем можно было ожидать; вероятно, он вспомнил беседу в библиотеке. К средневековому властелину он обратился по всей форме. Он отвесил поклон, нырнул в кеб и вынырнул, держа в одной руке неуклюжий сверток, а в другой шляпу. Развязать пакет одной рукой ему не удалось. Тогда он повернулся к трону.

— Простите, Ваше Величество, — сказал он. — Кажется, мой род издавна имеет право не снимать

---

54 notes: 54

«Назад к Мафусаилу» — пьеса Б. Шоу (1921), где под именем «Имменсо» — неуклюжего, рассеянного и сбивчиво говорящего персонажа — выведен Честертон.

шляпы в присутствии короля[55]. Что-то такое нам дали, когда мы безуспешно пытались спасти из темницы принцессу. Понимаете, шляпа мне мешает, хотя я ее нежно люблю.

Если он ожидал хотя бы отсвета шутки на лице одержимого, он его не дождался. Властелин ответил с полной серьезностью:

— Наденьте шляпу. Суть вежливости — в ее цели. Я не думаю, что кто-либо осуществлял такую привилегию. Помнится, один король сказал наделенному ею вельможе: «Вы вправе оставаться в шляпе при мне, но не при дамах». Поскольку в данном случае вы служите даме, вы вправе шляпу надеть.

И он обвел присутствующих взглядом, словно был уверен, что логика его убедила всех так же, как его самого; а Мэррел торжественно надел шляпу и принялся разворачивать многослойный сверток.

Когда он развернул его, там оказалась круглая, очень грязная баночка, испещренная загадочными узорами и письменами; когда же он вручил баночку Оливии, он увидел, что поиски его не

---

55 notes: 55

...не снимать шляпы в присутствии короля. — Ср. эпизод, описанный в романе М. Твена «Принц и нищий». Право это восходит, вероятно, ко времени правления Эдуарда III (1327—1377).

напрасны. Мы не знаем, почему так действует на нас самый вид не виданных с детства предметов; но, увидев грязный низенький флакончик с широкой пробкой и маркой — условными рыбами, Оливия сама удивилась, что глаза ее полны слез. Она словно услышала снова голос отца.

— Как же вы их нашли? — воскликнула она, хотя сама же просила зайти в магазин здесь, рядом, в городе. Восклицание это открыло и ей, и ему бессознательный пессимизм ее мечтаний о старине. Она не верила, что воскреснет хоть одна из любимых ею вещей. Краска лишь завершила доверие, возникшее в ней, когда Херн укорял Арчера. И краски, и укор были настоящими. Все эти костюмы и церемонии могли оказаться и пьесой. Но краски для книжных миниатюр были жизнью, такой же реальной, как кукла, когда-то потерянная в саду. С этой минуты Оливия точно знала, на чьей она стороне.

Однако мало кто в цветистой толпе разделял ее чувства. Никто, кроме нее, не ощутил, как странно, что Мэррел уехал рассыльным, а вернулся рыцарем. На взгляд модных людей он рыцарем не был. Тела их привыкли к новым одеждам, глаза — к новым краскам. Они уже не думали о живописности своих костюмов, но остро ощу-

щали, что Мэррел портит картину. Он мешал, как пятно на пейзаже, как пробка на шумной улице, когда дружески гладил свою чудовищную лошадь, которая неуклюже отвечала на ласку.

— Поразительно! — с обычным своим пылом сказал Арчер молодому оруженосцу, державшему меч. — Он ведь просто *не видит*, что ему здесь не место. Как трудно с такими людьми…

Он погрузился в угрюмое молчание, поневоле слушая, как и его соратники, беседу пришельца с королем. Все нервничали, и не без причины, ибо все понимали, как раздражает фарсовая сцена мечтателя на троне. Особенно тревожила подчеркнутая, почти балаганная куртуазность Мартышки, который — за отсутствием и премьер-министра, и хозяина этих земель — рассказывал нынешнему властителю о странствиях одряхлевшего кеба в неведомых краях. До невежливости вежливые фразы слились в нескончаемый монолог, отчасти походивший на рассказ путешественника при дворе сказочного короля. Но, устало вслушавшись, Арчер простился с этой романтической мечтою. Мэррел рассказывал об истинных происшествиях, к тому же — очень глупых.

Сперва он пошел в магазин. Потом в другой ма-

газин или в другой отдел того же магазина. Потом в кабак. Вот так он всегда, рано или поздно, попадает в кабак, и скорее рано, чем поздно, словно тебе не могут все тихо подать тут же, дома. За этим последовал пересказ какой-то кабацкой беседы, в ходе которой Мартышка, весьма неуместно, изображал прислугу. Потом он попал в трущобы какого-то приморского города и почему-то свел знакомство с кучером. Потом он впутался в какую-то историю. Всякий знает, что Мартышка любит розыгрыши, но, надо отдать ему справедливость, раньше он ими не хвастался, да еще так нудно. Кажется, он разыграл какого-то доктора, и того заперли вместо сумасшедшего. Жаль, что они не разобрались и не заперли Мартышку. Но какое отношение все это имеет к Брейнтри? О, Господи, он опять говорит! Появилась девушка. Вот в чем дело!.. А всегда притворялся закоренелым холостяком… Только зачем он делится этим теперь, когда надо приступать к ритуалу Щита и Меча? Почему застыл на месте король? Наверное, сердится. А может, заснул.

Однако прочие, в том числе оруженосец с мечом, не были столь чувствительны к дурному вкусу. Неуместность рассказа терзала их души меньше, чем чуткую душу Арчера. Но принима-

ли они рассказ ничуть не более серьезно. Одни постепенно заулыбались, другие — засмеялись, но неловко, словно смеются в церкви. Никто не понимал, о чем говорит Мэррел, и почему он об этом говорит. Тех, кто хорошо его знал, поражала его точность. А король не шевелился, и никто не ведал, окаменел он от гнева или оглох.

— Вот и все, — доверительно и легко закончил Мэррел, нарушая стиль рыцарского романа. — Вы скажете, оба они слепые, но слепота бывает разная. Как говорится, есть слепцы, которые из чрева родились так, а есть слепцы, которые ослеплены от людей. По-моему, Хэндри просто ослепили, — мучили, мучили, и он ослеп. А другой — врач — слепым родился, слепота ему нравится. Так что мне все равно, запрут его или нет… да не запрут, я потом заходил, смотрел… И давай бог ноги, чтоб полицейский не поймал. Сел в кеб, и понеслись мы стрелой… Вот и все.

Речь эта канула в бездну; однако самые нервные заметили, что статуя пошевелилась. Когда же она заговорила, голос ее не походил на божий гром. И слова ее, и тон напоминали скорее спокойное распоряжение судьи.

— Хорошо, — сказал король. — Дайте ему щит.

Именно в эту минуту сэр Джулиан Арчер вы-

пустил Движение из своих многоопытных рук. Позже, когда разразилась беда, он часто говорил с печальной проницательностью своим друзьям по клубу, что всегда понимал, как ложен был самый путь. На самом деле он и растерялся оттого, что ничего не понял; все выскользнуло вдруг из его отважной длани, словно воздушный шарик внезапно вырос и оборвал веревку. Сэр Джулиан легко и элегантно сменил модный костюм на средневековый наряд; но так поступил весь его круг, не говоря уж о дочери лорда. Ему было труднее вытерпеть все, что внесли в атмосферу кеб и шляпа. Но когда Майкл Херн поднялся и заговорил, не переводя дыхания, он перестал понимать что бы то ни было. Он чувствовал себя так, будто попал в мир нелепицы, где события ничем не связаны. Да, понять нельзя было ничего, кроме одного: Херн сердился. Конечно, кто не рассердится, увидев такую шляпу. Однако шляпа долго маячила темным пятном, а король на нее и не глядел. О чем Херн говорит, сэр Джулиан понять не мог, но подозревал, что тот рассказывает какую-то историю. Рассказывал он ее странно — и возвышенно, и грубо, как бывает в Писании и всяких таких книжках. Никто не догадался бы, что эту же историю уже рассказал Дуглас Мэррел.

Во всяком случае, Джулиан Арчер слышал ее впервые.

Размеренная речь сменилась на сей раз быстрой, слова подгоняли друг друга, Херн очень спешил, будто ему дали подзатыльник, но Арчер кое-как разобрал, что рассказывает он о каком-то старике и об его дочери, которая преданно сопровождала отца, когда его обокрали воры и он узнал беду (тут перед внутренним его взором замелькали картинки из старинных детских книг, изображающие очень оборванную дочь и длиннобородого старца). Ни у дочери, ни у отца не было никого на свете; мир забыл их; они никому не мешали; никому не причиняли вреда. Но в их убогой норе их нашли чужие люди, чью холодную злобу не очеловечил даже пыл ненависти. Они изучили старика, словно подопытное животное, и утащили его, словно труп. Им не было дела до горестных добродетелей, над которыми они посмеялись, и белых цветов верности, которые они втоптали в грязь.

— Вы, — кричал король отсутствующим врагам, — вы, обвиняющие нас в том, что мы вернули тиранию и золото корон! Где вы читали, чтобы короли вершили такие дела? Где вы читали такое даже про тиранов? Делал ли так Ричард I?

Делал ли так его брат? Вы знаете о феодалах самое худшее. Вы знаете Иоанна Безземельного по «Айвенго» и приключенческим романам. Он — предатель; он — деспот; он грешен всем; в чем же его грехи? В том, что он убил принца. В том, что обманул лордов. В том, что он вырвал зуб у банкира, вредил отцу, изгнал брата. Опасно жилось в тот век! Опасно быть принцем, опасно быть лордом, опасно подойти к водовороту королевского гнева. Тот, кто шел во дворец, не мог поручиться, что выйдет. Он входил в логовище льва, даже если там обитал прозванный Львиным Сердцем. Тогда говорили: горе богатым, ибо они возбуждают королевскую зависть. Горе знатным. Горе счастливым.

Но кто и когда говорил о том, чтобы могучий ловец перед Господом или пред Сатаною, бросив охоту, выворачивал камни, дабы украсть личинки у насекомых, или лазал по лужам, дабы оторвать головастика от лягушки? Была ли у тех королей мелочная злоба, которой убогий гнуснее гордого, которая велит мучить всех и наводняет мир соглядатаями, чтобы помешать влюбленному рабу, и посылает воинства, чтобы разлучить нищего с его ребенком? Короли бросали бедным проклятие или монету. Они не останавлива-

лись, чтобы разъять на части их жалкий дом и ввергнуть человеческие души, живущие печальной привязанностью, в последнюю, тягчайшую скорбь. Добрые короли ухаживали за нищими, как слуги, даже если нищие эти были прокаженными. Злые короли давили их по дороге и оставляли много денег на мессы и милостыню. Но они не заковывали в цепи слепого, как заковали сейчас старика, толкующего о слепоте. Вот какой паутиной бед и бедности вы облекли всех несчастных, ибо вы, прости нас Господи, такие гуманисты, такие либералы, такие филантропы, что не можете и помыслить о короле.

Вы обвиняете нас, когда мы хотим вернуть былую простоту. Вы обвиняете нас, когда мы скажем, что человек мог бы не делать того, что делают ваши машины, если он станет не машиной, а человеком. Что же противостоит нам, кроме машин? Что возразит нам Брейнтри? Что мы сентиментальны, что мы не признаем общественных наук, экономических наук, объективных, строгих, логических наук — словом, той науки, которая оторвала старика, словно прокаженного, от всего, что он любил. Мы ответим Брейнтри, что знаем науку. Мы ответим Брейнтри, что знаем о ней слишком много. Мы ответим Брейнтри, что с

нас хватит и науки, и просвещения, и общественного строя, который держится ловушками машин и смертельным лучом знания. Передайте Джону Брейнтри весть: все кончается, и это кончилось. А для нас этот конец — начало. На заре новой жизни, в собрании рыцарей, среди лесов Веселой Англии, я вручаю щит тому, кто совершил единственный подвиг наших дней: покарал хотя бы одного злодея и спас хотя бы одну женщину.

Он быстро сошел с трона, выхватил у Хэнбери меч, взмахнул им — тот засверкал огнем, как меч Архистратига[56], — и над застывшей толпой прозвучали старые слова, посвящающие человека Богу и беззащитным.

---

56 notes: 56

Архистратиг — архангел Михаил, глава небесного воинства.

Глава 15. ПЕРЕКРЕСТОК

Когда Оливия уходила после этой гневной речи, она была бледней, чем обычно, не только от волнения, но и от боли, которую сама причинила себе. Ей казалось, что она дошла до края, до конца, до распутья, где делают выбор. Такие женщины мучают себя, если дело идет о нравственности. Она не могла жить без веры, особенно — без алтаря и жертвы. Кроме того, у нее был очень четкий ум, и она воспринимала идеи как реальность. Теперь она ясно увидела, что больше нельзя поддерживать романтическое перемирие, если не хочешь честно перейти на сторону врага. Если бы она перешла, она бы не вернулась, и многое осталось бы позади. Будь это весь мир, то есть высший свет, она бы знала что делать; но это была Англия, это была верность, это была просто нравственность. Будь новое движение ученой причудой, или красивым зрелищем, или даже тешащим чувства возвратом к старине, о котором она мечтала, она легко покинула бы все это. Но теперь, всем умом и всем сердцем, она понимала, что уход — измена знамени. Особенно

убедило и тронуло ее обличение тех, кто обидел Хэндри. Дело Херна стало делом ее отца. А покинуть Брейнтри, как это ни смешно, ей помогли слова о нем его отважного врага. Никому ничего не сказав, она вышла за ворота и направилась к городу.

Медленно бредя сквозь мрачные предместья к еще более мрачному центру, Оливия поняла, что пересекла границу и движется в незнакомом мире. Конечно, она сотни раз бывала в таких городах, и в этом городе, ибо он лежал рядом с поместьем, где жила ее подруга. Но граница, которую она пересекла, была не пространственной, а временной; нет, духовной. Словно открывая еще одно измерение, Оливия узнавала, что рядом с ее миром есть и всегда был другой, неведомый ей мир, о котором она ничего не читала в газетах и даже не слышала после обеда от политиков. Как ни странно, политики и газеты особенно мало сообщали о нем именно тогда, когда, по всей видимости, о нем говорили.

Забастовка, начавшаяся где-то на шахтах, продолжалась уже не меньше месяца. И Оливии, и ее друзьям она казалась революцией, и знали они немногочисленную, но четко очерченную группу главарей. Но сейчас Оливию удивила не

революция. Ее удивило, что все это ничуть на революцию не похоже. По глупым фильмам и пьесам о французской революции она думала увидеть ревущую толпу полуголых бесов. То, что она видела сейчас, одни описывали страшней, другие — безобидней, чем на самом деле. Для наемных писак одной партии это был бунт кровавых бандитов против Бога и Подснежника, для наемных писак другой это было досадное недоразумение, которое уладят со дня на день добрые министры. Оливия слышала всю жизнь разговоры о политике, хотя никогда в них не вникала. Однако она верила, что это и есть современная политическая жизнь, и «заниматься политикой» значит «заниматься вот этим». Она верила, что премьер-министр, парламент, министерство иностранных дел, министерство торговли — политика, все остальное — революция. Но, проходя мимо людей, собравшихся кучками на улицах, а потом — в коридорах учреждений, она постепенно поняла совсем иное.

Она поняла, что существует неведомый ей премьер-министр, и это — знакомый ей человек. Она поняла, что существует неведомый парламент, где человек этот недавно произнес историческую речь, которая не войдет в историю. Здесь было и

министерство торговли, и другие министерства, стоявшие вне государства, точнее — против государства. Здесь была бюрократия; здесь была иерархия; здесь была армия. Система эта обладала всеми недостатками систем, но никак не походила на дикую чернь из фильмов. Оливия слышала разные имена, как слышала их в гостиной, но не знала никого, кроме Брейнтри и еще одного политика, осмеянного своевольной прессой. О государственных деятелях этого сокрытого государства здесь говорили просто и спокойно, и ей казалось, что она свалилась сюда с луны. Джимсон, в сущности, был молодец; Хитчинс когда-то умел работать, но теперь совершал ошибки; а с Недом Брюсом приходилось держать ухо востро. Брейнтри упоминали часто, иногда — ругали, что очень огорчало Оливию; когда же его хвалили, ей становилось страшно. Хэттона, которого в газетах изображали каким-то поджигателем, почти все осуждали за излишнюю осторожность и даже дружбу с хозяевами. Некоторые говорили, что он подкуплен.

Да, профсоюзное движение было скрыто от умной и тонкой английской леди куском бумаги, куском газеты. Оливия ничего не знала о разнице между профсоюзами; об истинных недостатках

профсоюзов; о людях, за которыми шло не меньше народу, чем за Наполеоном. Улица кишела незнакомыми, и особенно чужими казались лица, которые Оливия уже видела. Она заметила толстого кучера, приятеля Мартышки. Он слушал других, и его широкое, доброе лицо сияло, словно он со всеми соглашался. Если бы мисс Эшли побывала с Мэррелом в ночных кабаках, она узнала бы старого Джорджа, кротко ухмылявшегося под стрелами политического спора, как ухмылялся он под стрелами острот. Если бы она лучше знала, чем живет народ, она поняла бы, что означает присутствие в уличной толпе сонных и благодушных бедняков. Но она сразу же забыла о них, когда проникла во внешний двор храма (очень похожий на приемную какого-нибудь учреждения), и услышала голос в коридоре, а потом — шаги.

Джон Брейнтри вошел в комнату, и Оливия увидела, словно в ярком свете, все, что ей нравилось в нем, и все, что ей не нравилось в его одежде. Он еще не отрастил бороду; худым он был всегда, но из-за стремительности своей казался изможденным; силы в нем не убавилось. Когда он увидел Оливию, он окаменел. Забота исчезла из его глаз, осталась сияющая печаль. Ведь заботы —

всего лишь заботы, что бы мы им не отдавали, а печаль — оборотная сторона радости. Оливия встала и заговорила с непривычной простотой.

— Что мне сказать? — начала она. — Наверное, нам надо расстаться.

Так признали они впервые, что были вместе.

Существует много неверных мнений о дружеском разговоре, тем более — о задушевной беседе. Люди редко говорят правду, когда они, даже скромно, говорят о себе; но многое открывают, когда говорят о чем-нибудь ином. Оливия и Брейнтри так долго и часто разговаривали о чем угодно, кроме самих себя, что понимали друг о друге все, и по замечанию о Конфуции могли догадаться, что думает собеседник об еде. Сейчас, когда они неожиданно и, казалось бы, беспричинно дошли до перелома, они говорили притчами; и понимали друг друга.

— Боже мой! — сказал Брейнтри.

— Вы это говорите, — сказала Оливия, — а я это думаю.

— Я не атеист, — невесело улыбнулся Брейнтри. — Но я не вправе сказать «мой». А вам, наверное, Бог принадлежит, как и много других хороших вещей.

— Неужели вам кажется, — спросила она, — что

я не отдала бы многого ради вас? Но есть в душе такое, чего не отдашь ни за кого.

— Если бы я не любил вас, я бы мог солгать, — сказал он, и снова они не заметили, что впервые звучит это слово. — Как бы я лгал вам, как укорял бы за то, что вы сбивали меня с толку, и просил бы не лишать меня нашей интеллектуальной дружбы, и требовал объяснений!.. Господи, ну что бы мне стать настоящим политиком! Только настоящий политик скажет, что политика — не в счет. Как хорошо и легко говорить обычные, привычные, газетные фразы: конечно, мы расходимся во взглядах, но… мы на разных позициях, однако… лично я посмею сказать, что никогда… Англия гордится тем, что никакие политические споры не в силах помешать добрым отношениям… о, черт их дери, какая чушь! Я понимаю и себя и вас. Мы с вами — из тех, кто не может забыть о добре и зле.

Он долго молчал, потом сказал еще:

— Значит, вы верите в Херна и в его рыцарей? Значит, вы верите, что это — рыцарственно, и даже понимаете почему?

— Я не верила в его рыцарство, — отвечала она, — пока он не сказал, что верит в ваше.

— Очень мило с его стороны, — серьезно сказал

Брейнтри. — Он хороший человек. Только боюсь, что его похвалы повредят мне в моем лагере. Для многих наших людей такие слова стали символами.

— Я могла бы ответить вашим людям, — сказала она, — как вы ответили мне. Да, меня считают старомодной, а они не отстают от времени. Я сержусь на них, я могла бы их оскорбить, назвать модными, но я не стану, хотя моде они следуют. Они ведь не меньше умных дам верят в женскую независимость, и равноправие, и прочее. И вот, они скажут, что я старомодна, словно я — рабыня в гареме. А я брошу им вызов из той беды, в какую я теперь попала. Они толкуют о том, что женщина должна сама избрать свой путь. Часто ли жены социалистов нападают на социализм? Часто ли невесты депутатов голосуют или выступают против них? Девять десятых революционерок идут за революционерами. А я независима. Я выбрала свой путь. Я живу своей собственной жизнью, и жизнь эта очень печальна, потому что я не пойду за революционером.

Они снова молчали; такое молчание длится потому, что и ненужно, и невозможно что-нибудь спросить. Потом Брейнтри подошел к ней ближе и сказал:

— Что ж, и мне плохо. Это логично, но жизнь — такая зверская штука, что логику и не опровергнешь. Легко ругать логику, но альтернатива ей — ложь. А еще говорят, что женщины нелогичны, потому что они не тратят логики на пустяки! Господи, как же вырваться из логики?

Всякому, кто не понимал, как они изучили друг друга, беседа эта показалась бы цепочкой загадок; но Брейнтри заранее знал разгадки. Он знал, что Оливия верит, а вера — это отказ. Он знал, что, пойди она за ним, она не жалела бы жизни, помогая ему. Но она не могла ему помогать — и не шла за ним, тоже не жалея жизни. Их распря, родившаяся из глупых фраз и ответов наугад в зале Сивуда, преобразилась, углубилась, просветлела, а главное — обрела четкость, ибо они узнали самое лучшее друг о друге и поднялись на высоты разума, который он так почитал. Люди смеются, читая о таких вещах в рассказах о римской добродетели, но значит это, что сами они никогда не любили одновременно и друга, и истину.

— Что-то я знаю лучше, чем вы, — наконец сказала она. — Вот вы подшучивали над моими рыцарями. Не думаю, что вы будете над ними шутить, когда с ними боретесь, но вы бы шутили, если бы мы вернулись в те веселые дни. Смешно-

го и даже веселого тут мало. Стихи бывают проще, чем проза, а кто-то сказал: «сердца наши — любовь, и вечное прости». Вы читали у Мэлори о том, как прощались Ланселот и Гиневра?

— Я читаю это на вашем лице, — сказал он и поцеловал ее, и они простились, как те, что любили друг друга в Камелоте[57].

За стеной на темных улицах густела толпа и полз шепоток затянувшегося ожидания. Как все в неестественной жизни, навязанной забастовкой, рабочие нуждались в происшествиях, хороших или плохих, которые бы их подстегивали. В этот вечер ожидалось большое представление. Еще нельзя было сказать, что кто-то запаздывал, но люди ощущали какую-то неточность. Однако Брейнтри вышел на балкон всего на пять минут позже, чем думал. И толпа разразилась приветственными криками.

Он еще не сказал десяти слов, когда стало яс-

---

57 notes: 57

Мэлори, Ланселот и Гиневра, Камелот. — Томас Мэлори (ок. 1417—1471) — крупнейший английский писатель XV в., обработал легенды Артуровского цикла и издал их в 1485 г. в виде книги «Смерть Артура», в немалой мере сформировавшей так называемый «британский дух». Ланселот и Гиневра — персонажи VI книги романа, восходящей к французским редакциям «Романа о Мерлине». Камелот — дворец короля Артура, где, согласно преданию, и по сей день стоит Круглый стол Артурова рыцарства.

но, что говорит он не так, как принято среди английских политиков. То, что он хотел сказать, требовало иного слога. Он не признавал суда; и само это трогало эпические глубины толпы. Нельзя восхищаться тем, в чем нет завершенности. Потому и не овладевали ни одной толпой идеи о постепенном нравственном изменении или прогрессе, ведущем неведомо куда.

Новое правительство решило судить забастовщиков особым судом. Забастовка охватила теперь красильную промышленность; и промышленники надеялись, что удастся уладить дело проще и прямее, чем улаживали его компромиссы профессиональной политики. Но улаживать их собирались; на этом настаивали новые правители; с этим не соглашался Брейнтри.

— Без малого сотню лет, — говорил он, — от нас требовали, чтобы мы уважали конституцию, и короля, и палату лордов, и даже палату общин (смех). Нам полагалось ее уважать, нам одним, больше никому. Мы покладисты, мы послушны, мы принимаем всерьез лордов и короля. А они свободны. Когда им надоедает конституция, они развлекаются переворотами. Они в одни сутки перевернули правительство и сообщили нам, что отныне мы не в конституционной монархии,

а на маскараде. Где король? Кто у нас король? Библиотекарь, занимающийся хеттами (смех). И мы должны предстать перед его судом (крики) и объяснить, почему нас сорок лет мучили, а мы не устроили переворота (громкие крики). Пусть слушают библиотекаря, если им хочется. Мы не тронем древнего рыцарского ордена, которому десять недель от роду; мы будем уважать старинные идеалы, родившиеся лишь вчера. Но суда мы слушать не будем. Мы не подчинились бы законным консерваторам — с чего же нам подчиняться консерваторам беззаконным? А если эта антикварная лавка вызовет нас в суд, ответ наш будет прост: «Мы не придем».

Брейнтри сказал, что Херн занимается хеттами, хотя прекрасно знал и нередко говорил, что теперь он занимается средневековьем. Однако сейчас он бы удивился тому, как много Херн занимается. Они непрестанно вели спор, как ведут его два противоположных типа правдоискателей. Одни правдоискатели с самого начала знают, чего хотят; поле их зрения, пусть ограниченное, ослепительно-ясно, а все прочее или соответствует ему, или нет. Другие могут поглотить целые библиотеки, не догадываясь, какого они духа, и создают сказочные страны, в которых

сами невидимы или прозрачны. Брейнтри знал с самого начала, почти с самой ссоры в длинном зале, как нелепо его сердитое восхищение. Он знал, как удивительна и невозможна его любовь. Бледное, живое и гордое лицо с острым подбородком врезалось в его мир, как меч. Ее мир он ненавидел особенно сильно, ибо не мог ненавидеть ее самое.

У Майкла Херна все шло наоборот. Он и не замечал, чьи романтические чары вдохновили его романтический мятеж. Он чувствовал только, как растет в нем радость, мир расширяется и светлеет, словно восходит солнце или начинается прилив. Сперва любимое дело стало для него праздником. Потом праздник стал пиром или торжественным действом во славу божества. Лишь в глубине его сознания теплилась догадка, что это — богиня. У него не было близких, и когда любовь захватила его, он о ней не догадался. Он сказал бы, что ему помогают прекраснейшие люди, он говорил бы о них, как о сонме ангелов, — но если бы Розамунда поссорилась с ним и ушла, он бы все понял.

Это случилось; и, вполне естественно, случилось всего через полчаса после того, как былые враги, а потом друзья, расстались возлюбленны-

ми. Когда они говорили слова прощания под шум и лязг политических споров, тот, кто разлучил их, хотя и как символ, открыл, что в этом мире мужчине выпало быть не только символом. Он увидел Розамунду на зеленом уступе, и земля преобразилась.

Весть о вызове, брошенном Брейнтри, смутила и огорчила самых благодушных из рыцарей, но Розамунду она разгневала. Пустая трата времени больше значила для нее, чем измена принципу; и забастовка бесила ее прежде всего как заминка. Многим кажется, что женщины привнесли бы в политику кротость или чувствительность. Но женщина опасна в политике тем, что она слишком любит мужские методы. На свете очень много Розамунд.

Она не могла разрядить раздражение с окружавшими ее мужчинами, хотя они относились к Брейнтри хуже, чем она. Отец растолковал ей ситуацию, которую, по его мнению, легко исправил бы, растолковав мятежникам. Но поскольку слова его укачали даже дочь, она в этом усомнилась. Лорд Иден говорил короче. Он сообщил ей, что время покажет, и возложил надежду на экономические трудности в мятежном стане. Намеренно или нет, он ничего не сказал о движении, которое

сам поддержал. Все вели себя так, словно на сверкающий строй упала тень. За парком, за вратами рыцарского края, современный дракон, промышленный город, с дерзкой насмешкой извергал в небо черный дым.

— Они выдохлись, — жаловалась Розамунда Мартышке, которому жаловались все. — Вы не могли бы их расшевелить? Столько хвастались, трубили…

— Это называется «моральный подъем», — ответил он. — Хотя зовут это и пустозвонством. Можно приставить каждого к флагу, но бороться флагами трудно.

— Да вы знаете, что сделал Брейнтри? — гневно вскричала Розамунда. — Он бросил нам вызов, оскорбил короля!..

— Что же еще ему делать? — спросил Мэррел. — Я бы на его месте…

— Вы не на его месте! — воскликнула она. — Вам не кажется, Дуглас, что пора выбрать свое место?

Мэррел устало улыбнулся.

— Да, — сказал он, — я вижу обе стороны вопроса. Вы, конечно, скажете, что я просто обхожу его…

— Нет! — в ярости выговорила она. — Того,

кто видит обе стороны вопроса, я бы ударила по обеим щекам.

Чтобы не поддаться этому порыву, она понеслась ураганом по лугам и уступам к старому саду, где когда-то играли пьесу «Трубадур Блондель». В этом зеленом покинутом театре стоял, как тогда, отшельник в зеленой одежде и, закинув львиную голову, глядел поверх долины на город, изверга-ющий дым.

Розамунда застыла на месте, словно ее опутали воспоминания, словно она любила и утратила то, чего на свете нет. Звуки и краски спектакля вернулись к ней и усмирили ее на миг, но она смела их, как паутину, и твердо сказала:

— Ваши мятежники бросили нам вызов. Они не придут на суд.

Он обвел парк близоруким взглядом. Только пауза показала, что он почувствовал, услышав ее голос.

— Я получил письмо, — негромко ответил он. — Оно написано мне. Оно написано ясно. На суд они придут.

— Придут! — взволнованно повторила она. — Значит, Брейнтри сдался?

— Да, придут, — кивнул он. — Брейнтри не сдался. Я и не ждал, что он уступит. Я за то его

и уважаю, что он не уступил. Он человек последовательный и храбрый. Такого врага приятно иметь.

— Не понимаю, — сказала она. — Как же так? Не уступит и придет…

— Новая конституция, — объяснил он, — предусматривает подобные случаи, как, вероятно, и все конституции на свете. Примерно это называлось у вас принудительным приводом. Не знаю, сколько человек мне понадобится. Я думаю, хватит нескольких дружин.

— Как! — закричала она. — Не приведете же вы их силой?

— Приведу, — отвечал он. — Закон совершенно ясен. Я — только исполнитель, моей воли тут нет.

— У вас больше воли, чем у них у всех вместе взятых, — сказала она. — Послушали бы вы Мартышку!

— Конечно, — с научной честностью прибавил он, — я предполагаю, а не предсказываю. Я не могу ручаться за чужие действия и успехи. Но они придут, или я больше не приду.

Его темная речь проникла наконец в ее сознание, и она вздрогнула.

— Вы хотите сказать, что будет сражение? —

спросила она.

— Мы будем сражаться, — ответил он, — если будут сражаться они.

— Вы единственный мужчина в этом доме! — воскликнула она и ощутила, что он дрожит.

Он так быстро потерял власть над собой, словно его сломили, и странно закричал.

— Не говорите мне этого! — промолвил он. — Я слаб. Я слабее всего сейчас, когда мне надо быть сильным.

— Вы не слабы, — сказала она, обретая прежний голос.

— Я безумен, — сказал он. — Я вас люблю.

Она онемела. Он схватил ее руки, и его руки задрожали, словно их до плеча пронзил электрический ток.

— Что я делаю, что говорю? — воскликнул он. — Вам, которой так часто это говорили… Что вы скажете мне?

Она прямо глядела ему в лицо.

— То, что сказала, — ответила она. — Вы — единственный мужчина.

Больше они не говорили; за них говорили могучие уступы, поднимавшиеся к угловатым скалам, и западный ветер, качавший верхушки деревьев,

и весь Авалон[58], видевший некогда и рыцарей, и влюбленных, полнился ржаньем коней и звоном труб, которые оглашают долину, когда короли уходят в битву, а королевы остаются и правят вместо них.

Так стояли они на вершине мира, на вершине доступного людям счастья, почти в те же самые минуты, когда Оливия и Джон прощались в темном и дымном городе. И никто не угадал бы, что печальное прощанье скоро сменится более полным согласием, а над яркими силуэтами, сверкающими даже на золотом фоне заката, нависла черная туча разлуки, скорби и судьбы.

58 notes: 58

Авалон — земной рай кельтских легенд, куда был увезен раненый король Артур.

Глава 16. КОРОЛЕВСКИЙ СУД

Лорд Иден и лорд Сивуд сидели в своей любимой беседке, куда не так давно лучом рассвета влетела стрела. Судя по их виду, они думали скорее о закате. Застывшее лицо Идена могло обозначать многое, но Сивуд безутешно качал головой.

— Если бы они спросили меня, — говорил он, — я бы им объяснил, надеюсь, что они в тупике. Конечно, восстановлению старины сочувствует всякий культурный человек. Но нельзя же сражаться устарелыми методами с реальной опасностью! Что сказал бы Пиль[59], если бы кто-нибудь предложил использовать алебарды дворцовой стражи вместо полиции? Что сказал бы Пальмерстон, если бы кто-нибудь предложил разгонять бунтовщиков парламентской булавой? Мы не вправе проецировать на будущее славные деяния прошлого. Все это могло бы обернуться шуткой, но нынешнее поколение лишено чувства юмора.

— Наш друг король уж точно лишен, — провор-

---

59 notes: 59

Пиль, Роберт (1788—1850) — английский политический деятель.

чал Иден. — Иногда я думаю, что оно и лучше.

— С этим я никак не соглашусь, — твердо сказал Сивуд. — Настоящий, английский юмор…

В эту минуту на пороге появился лакей, пробормотал ритуальные слова и протянул хозяину записку. Когда хозяин ее прочитал, печаль на его лице сменилась удивлением.

— Господи помилуй! — сказал он.

На записке большими и смелыми буквами было написано, что в ближайшие дни Англия изменится, как не менялась сотни лет.

— Или наш молодой друг страдает галлюцинациями, — сказал наконец Сивуд, — или…

— Или, — сказал Иден, глядя в плетеный потолок, — он взял Милдайк и ведет мятежников на суд.

— Поразительно! — сказал Сивуд. — Кто вам сообщил?

— Никто, — отвечал Иден. — Но я это предполагал.

— А я никак не предполагал, — сказал Сивуд. — Более того, я считал это невозможным. Чтобы такая бутафорская армия… нет, любой культурный человек скажет, что их оружие устарело!

— Скажет, — согласился Иден. — Ведь культурные люди не думают. Образование в том и

состоит, чтобы узнать, принять и больше не думать. Так и тут. Мы выбрасываем копье, потому что ружье сильнее, потом отказываемся от ружья, этого варварского пережитка, и удивляемся, когда нас проткнут копьем. Вы говорите, мечи и алебарды теперь не годятся. Они очень хорошо годятся, если противник безоружен. Вы говорите, оружие устарело; все ж это оружие, а наши политики только и делают, что от оружия отказываются, словно их охраняет кольцо невидимых копий. И так во всем. Мы путаем свою утопию, которой никогда не будет, с викторианской безопасностью, которой уже нет. Ничуть не удивлюсь, что бутафорская алебарда сбила их с помоста. Я всегда считал, что для переворота достаточно ничтожной силы, если противник вообще не умеет своей силой пользоваться. Но у меня не хватало смелости. Тут нужен не такой человек.

— Конечно, — сказал лорд Сивуд. — Мы не унизимся до драки.

— Вот именно, — сказал лорд Иден. — Дерутся смиренные.

— Я не совсем вас понимаю, — сказал лорд Сивуд.

— Сам я слишком грешен, чтобы драться, — ска-

зал лорд Иден. — Только дети шумят и дерутся. Но кто не умалится, как дитя…

Неизвестно, понял ли его теперь родовитый викторианец, но больше он не объяснял, ибо глядел на дорогу, ведущую к воротам парка. Дорогу эту и ворота сотрясал тот радостный шум, о котором он говорил, и песня рыцарей, возвращающихся с поля боя.

— Я прошу у Херна прощения, — сказал великодушный Арчер. — Он сильный человек. Я всегда говорил, что Англии нужен сильный человек.

— Я видел силача в цирке, — припомнил Мэррел. — Наверное, многие просили у него прощения…

— Вы меня прекрасно понимаете, — незлобиво сказал Арчер. — Государственный деятель. Тот, кто знает, чего он хочет.

— Что ж, и сумасшедший это знает, — отвечал Мэррел. — Государственному деятелю хорошо бы знать, чего хотят другие.

— Дуглас, что с вами? — спросил Арчер. — Вы грустите, когда все радуются.

— Хуже радоваться, когда все грустят, — сказал Мэррел. — Оскорбительней. Но вы угадали, я не слишком ликую. Вот вы говорите, Англии нужен сильный человек. Я помню только одного,

беднягу Кромвеля — и что из этого вышло? Его выкопали из могилы, чтобы повесить, и сходили с ума от радости, когда власть вернулась к слабому человеку. Нам не подходит твердая рука, революционная ли, реакционная. Итальянцы и французы оберегают свои границы и чувствуют себя солдатами. Повиновение не унижает их, властелин для них — просто человек, и правит он потому, что такое у него дело. Мы не демократы, нам диктатор не нужен. Мы любим, чтобы нами правили джентльмены. Но никто не вынесет власти одного джентльмена. Даже подумать страшно!..

— Ничего не пойму, — сказал Арчер. — Зато Херн знает, чего он хочет, и покажет этой швали.

— Дорогой мой, — сказал Мэррел, — миру нужны разные люди. Я не так уж люблю джентльменов, они все больше дураки. Но им долго удавалось править этим островом, потому что никто не знал, чего они хотят. Сегодня ошибутся, завтра исправят, никто ничего не заметит. Прибавят слева, прибавят справа, и все как-то держалось. Но ему обратного пути нет. Для вас он герой, для других — тиран. Аристократия тем и жива, что тиран не казался тираном. Он грабил дом и забирал землю, но не мечом, а парламент-

ским актом. Если он встречал ограбленного, он спрашивал его о ревматизме. На этом и стояла наша конституция. Того, кто бьет людей, вспомнят иначе, прав он или неправ. А Херн далеко не так прав, как он думает.

— Да, — заметил Арчер, — вы не слишком пылкий соратник.

— Я вообще не знаю, соратник ли я, — мрачно сказал Мэррел. — Но я не ребенок. А Херн — ребенок.

— Опять вы за свое! — огорчился Арчер. — Пока он ничего не делал, вы его защищали.

— А вы его обижали, пока он был безвреден, — ответил Мэррел. — Вы называли его сумасшедшим. Очень может быть. Я сумасшедших люблю. Но мне не нравится, что вы перешли на его сторону, когда он стал буйным.

— Он слишком удачлив для сумасшедшего, — сказал Арчер.

— Только удачливый сумасшедший и опасен, — сказал Мэррел. — Потому я и назвал его ребенком; а детям оружия не дают. Для него все просто, он видит лишь белое и черное. С одной стороны — святое рыцарство, добрый порядок, иерархия, с другой — слепая анархия, варварство, гнусный хаос. Он победит, он уже победил. Он

соберет свой двор, и свершит свой суд, и погасит мятеж, а вы не заметите, как началась поистине новая история. Прежде история мирила наших вождей; статуи Питта и Фокса[60] стоят бок о бок. Теперь вы кладете начало двум историям: одну расскажут победители, другую — побежденные. Власть имущие будут вспоминать праведный суд Херна, как мы вспоминаем суд Мэнсфилда. Мятежники будут вспоминать последнее слова Брейнтри, как мы вспоминаем последнее слово Эммета[61]. Вы творите новое — меч разделяющий и разделенный щит. Это не Англия, это не мы. Это Альба, герой католиков и чудище протестантов; это Фридрих, отец Пруссии, палач Польши[62]. Когда ваш суд осудит Брейнтри, вы и не заметите, что вместе с ним осудят многое из того, что сами

---

60 notes: 60

Статуи Питта и Фокса. — Питт, Уильям («Питт Младший», 1759—1806), английский премьер-министр, лидер «новых тори»; Фокс, Чарльз Джеймс (1749—1806), английский государственный деятель, лидер левых вигов. Прославленные парламентские ораторы, непрестанно споривщие друг с другом.

61 notes: 61

…суд Мэнсфилда, последнее слово Эммета. — Томас Аддис Эммет (1764—1827) — ирландский патриот, адвокат, блистательный оратор, защищавший в период обострения англо-ирландских отношений (1795) одного из членов Объединенного общества ирландцев Мэнсфилда, подписавшегося под текстом клятвы Общества. Эммет прочитал пламенную речь в защиту обвиняемого и сам демонстративно подписался под текстом клятвы.

62 notes: 62

Альба — герцог Альба (1507—1582) — испанский военачальник, фаворит Филиппа II. *Фридрих* — Фридрих Вильгельм I (1688—1740) прусский король (1713—1740), родоначальник прусского милитаризма.

вы любите не меньше, чем я.

— Вы социалист? — спросил Арчер, удивленно глядя на него.

— Я последний либерал, — ответил Мэррел.

Майкл Херн относился серьезно ко всем своим обязанностям, но вскоре все заметили, что к одной из них он относится со скорбью. Во всяком случае, это заметила Розамунда и угадала причину. В ней было много материнского — такие женщины часто привязываются к таким безумцам. Она знала, что он принимает всерьез, без капли юмора, внешние свои обязанности и может повести рыцарей в бой, а потом — вершить суд, ни разу не помыслив об опереточных королях. Она знала, что он может снять шлем и кирасу и надеть поверх зеленого камзола пурпурную мантию, не вспомнив о том, как любил менять форму германский император. Но сейчас он был не только серьезен. Во-первых, он очень много работал. День и ночь сидел он над книгами и бумагами, все больше бледнея от напряжения и усталости. Она понимала, что он должен приспособить феодальные законы, чтобы уладить нынешние беспорядки. Это ей нравилось; собственно, это ей и нравилось больше всего. Но она и не подозревала, что ему придется так много

корпеть над старыми документами. Однако тут были и документы новые, самые удивительные, на каком-то из них она даже увидела подпись Дугласа Мэррела. Все это очень утомляло верховного судью; но Розамунда знала, что скорбь его вызвана другим.

— Я поняла, что с вами, Майкл, — сказала она. — Тяжело обижать тех, кого любишь. А вы любите Брейнтри.

Он обернулся через плечо, и ее поразило выражение его лица.

— Я не знала, что вы любите его так сильно, — сказала она.

Он отвернулся. Вообще он был резок на этот раз.

— Но я знаю о вас и другое, — продолжала она. — Вы будете справедливы.

— Да, — отвечал он. — Справедливым я буду. — И опустил голову на руки.

Из почтения к его разбитой дружбе она молча ушла.

Минуты через две он снова взял перо и принялся что-то выписывать. Но прежде он поглядел на высокий потолок зала, где он так долго работал, и взор его задержался на полке, куда он некогда вскарабкался.

Джон Брейнтри не питал почтения к романтическим карнавалам, даже тогда, когда их любила та, кого он любил; и уж никак не восхищался, когда к ним присоединились ужасы суда. Увидев символические топорики и пышные одежды, он преисполнился презрения, а презрение нельзя презирать, когда им защищается побежденный. Его спросили, не хочет ли он что-нибудь сказать суду, и он повел себя дерзко, как Карл I.

— Я не вижу никакого суда, — сказал он. — Я вижу людей, разрядившихся валетами и королями. Я не стану признавать разбойников за то, что они — ряженые. По-видимому, придется вытерпеть эту комедию, но сам я не скажу ничего, пока вы не притащите дыбу или испанский сапог, а там и разложите костер. Надеюсь, вы их воскресили. Человек вы ученый, и дадите нам подлинное средневековье.

— Вы правы, — серьезно сказал Херн. — Мы хотим восстановить средневековую систему, хотя и не во всех деталях, ибо никто не станет защищать во всех деталях какую бы то ни было систему. Однако вы не сделали ничего, что заслуживало бы сожжения. Такой вопрос даже и не вставал.

— Весьма обязан, — любезно сказал Брейнтри. — Нет ли тут лицеприятия?

— Где порядок? — гневно вскричал Джулиан Арчер. — Работать невозможно! Где уважение к суду?

— Но за поступки, которые могли повредить многим людям, — продолжал судья, — вы несете ответственность, и суд будет вас судить. Это не я говорю. Это говорит Закон.

И он взмахнул рукой, словно мечом, обрывая восторженные крики. Крики утихли, но молчание было таким же восторженным. А Херн продолжал ровным голосом:

— Мы пытаемся восстановить старый порядок. Конечно, приходится его в чем-то менять, и тем самым создавать новые законы. Великий век, источник нашей жизни, был разнороден и знал исключения; мы же должны вывести общее, оставляя в стороне противоречащие друг другу детали. В данном случае речь идет о неурядицах, возникших в так называемой угольной промышленности, особенно — в той, что занята превращением дегтя в красители и краски, и мы должны обратиться к общим положениям, которым подчинялся некогда человеческий труд. Положения эти отличны от тех, которые возникли позже, в менее спокойное, даже беззаконное время. Главное в них — порядок и повиновение.

Толпа одобрительно загудела, Брейнтри засмеялся.

— В цехах и гильдиях, — продолжал Херн, — подмастерья и поденщики безусловно подчинялись мастерам. Мастером считался тот, кто сделал образцовую работу, так называемый «шедевр». Другими словами, человек сдавал цеху нелегкий экзамен. Обычно он работал на свои деньги, со своим материалом, своими инструментами. Подмастерье — это ученик, поденщик — тот, кто, еще не выучившись, нанимается к разным мастерам и нередко странствует по разным местам. Каждый из них мог стать мастером, сработав свой шедевр. Такова в общих чертах старая организация труда. Применяя ее к данному случаю, мы видим следующее. Мастера здесь три, ибо лишь трое владеют сырьем, деньгами и орудиями труда. Я проверял все это и убедился, что владеют они ими сообща. Один из них — сэр Говард Прайс, прежде — мастер-мыловар, внезапно перешедший в цех красильщиков. Другой — Артур Северн, барон Сивуд. Третий — Джон Генри Имс, граф Иден. Но я не нашел ни слова об их образцовых работах, о личном участии в труде и обучении подмастерьев.

Мэррел весело улыбался, на других лицах

проступило недоумение, а на тонком лице сэра Джулиана оно уже сменялось негодованием и достигло той степени, когда вот-вот выльется в слова: «Ну, знаете ли!»

— Здесь нужна особая осторожность, — говорил судья. — Мы не вправе искажать самый принцип мнениями и чувствами. Я не вспомню, как говорил здесь вождь рабочих, тем более — как говорил он со мной. Но если он считает, что ремеслом должны ведать те, кто им владеет, я скажу без колебаний, что он с большою точностью воспроизводит средневековый идеал.

Впервые за все это время Брейнтри удивился. Если это был комплимент, он не знал, как принять его с должной учтивостью. Толпа гудела все громче, а Джулиан Арчер, еще не дошедший до того, чтобы прервать оратора, возмущенно шептал что-то Мэррелу.

— Конечно, — продолжал Херн, — лорд Иден и лорд Сивуд вправе представить работу на суд цеха. Не знаю, выберут ли они ремесло, которым занимались в неведомые мне времена, или поступят подмастерьями к какому-нибудь рабочему.

— Простите, — медленно проговорил здравомыслящий Хэнбери, — шутка это или нет? Я просто спрашиваю, шутки я люблю.

Херн посмотрел на него, и он умолк. А судья неуклонно продолжал:

— Признаюсь, третий случай мне не так ясен. Я не совсем уразумел, как именно переменил свое ремесло сэр Говард. Это было очень трудно при том порядке, который мы пытаемся восстановить. Однако здесь мы касаемся иного вопроса, о котором я буду вынужден говорить и позже, и суровей. В первых же двух случаях решение неоспоримо. Суд признает: требование Джона Брейнтри, чтобы ремеслом всецело ведали и правили ремесленники-мастера, не противоречит нашим традициям и справедливо само по себе, а потому должно быть принято.

— Что за черт!.. — сказал Хэнбери, не утратив флегматичности.

— Да что же это такое! — вскричал Арчер вполне рассудительно, хотя и сбиваясь на визг.

— Решение принято, — промолвил судья.

— Нет, — начал Арчер, — нельзя же, честное слово…

— Где порядок? — спросил Мэррел. — Работать невозможно! Где уважение к суду?

Никто не заметил этих реплик, но все, кто глядел на судью, видели, что серьезность его переходит в суровость, ибо ему нелегко и сохранять

напряжение, и оставаться бесстрастным.

Глава 17. ОТРЕЧЕНИЕ ДОН КИХОТА

В этой суматохе два поименованных аристократа сидели неподвижно, как мумии, хотя причины их неподвижности, вероятно, были разными. Лорд Сивуд просто обомлел; такое выражение лица было бы у головы, если бы из-под нее выдернули тело. Конечно, судья вправе пошутить; но судьи шутят не так. А если это не шутка, что же это? Лорд Иден, как ни странно, улыбался, словно все это ему нравилось. Судья тем временем заговорил снова.

— Нужно правильно понимать такие вещи, — сказал он. — Если мы определяем или описываем цехи и гильдии, закон таков и другого мы не ищем. Но прежний порядок признавал и другие права, в том числе — право частной собственности. Ремесленник работал, торговец торговал, и собственность у них была. В случаях, подобных нынешнему, приходится признать, что абстрактная власть принадлежит рабочим, материалы же и доходы принадлежат тем, кого я назвал.

— Ну, это еще ничего!.. — хором выдохнули

сторонники Арчера, а старый Сивуд закивал, как болванчик. Но Иден сидел неподвижно.

— Если говорить в общих чертах, — продолжал Херн, — средневековая нравственность и средневековое право вникали в принцип частной собственности глубже, чем более поздние системы. Скажем, тогда знали, что человек иногда владеет тем, чем владеть не вправе, ибо приобрел это способом, несовместимым с христианской нравственностью. Существовали законы против тех, кто отдавал деньги в рост или придерживал товары, чтобы повысить цену. Такие преступления карались позорным столбом и даже виселицей. В других же, честных, случаях дозволялось владеть имуществом. Насколько мне известно, в красильную промышленность вложены деньги поименованных мною лиц. Деньги эти — основная часть их имущества, ибо земли, которыми владеют двое из них, частью заложены и приносят все меньше дохода. Богатством своим наши истцы обязаны успешной деятельности Красильной Компании, пайщиками которой состоят. Деятельность эта столь успешна, что во всем охваченном промышленностью мире продаются лишь те краски и красители, которые производят здесь. Остается узнать, какими спосо-

бами достигла Компания такого успеха.

Со слушателями произошла странная перемена. Большинство, убаюканное знакомыми фразами реклам и отчетов, мерно кивало. Лорд Сивуд улыбался; лорд Иден хранил серьезность.

— Благодаря приключению или, вернее, подвигу одного из отважнейших наших рыцарей мы узнали правду о типичном случае, из которого и будем исходить. Перед нами предстала судьба настоящего мастера. Он сам, по своему разумению изготовлял краски, которые восхваляли живописцы его времени и тщетно пытаются заменить нынешние живописцы. Красильная Компания не продает этих красок. Мастер в Компании не служит. Что же случилось с образцовой работой и с самим мастером?

Из донесений, представленных рыцарем, я смог это уяснить. Мастера довели до нищеты. Отчаяние настолько сломило его, что его признали безумным. Способы, при помощи которых его лишили и ремесла, и дома, не согласны с нравственностью; это — скупание нужных материалов и намеренное понижение цен. За такие дела наши предки вешали или ставили к столбу. Делали это пайщики Компании, нынешние мастера.

Он твердо повторил имена и титулы, но на слове «Сивуд» голос его дрогнул. Ни на одно лицо в толпе он не смотрел.

— Итак, суд полагает, что частная собственность, вложенная в эти предприятия, приобретена бесчестным путем и не пользуется защитой закона. Ремеслом должны ведать ремесленники, подчиняющиеся правилам честности; в данном же случае собственники не имеют права на иск. Мы предписываем гильдии…

Сивуд вскочил, словно мумию гальванизировали. Простодушное тщеславие, которое лежит глубже викторианской спеси, выплыло, хватая ртом воздух. Он даже забыл, что снобы боятся снобизма.

— Я думал, — проговорил он, заикаясь от волнения, — что вы возрождаете почтение к знати. Я не знал, что эти лавочные правила относятся и к нам.

— А, — тихо и как бы в сторону сказал Херн, — вот оно наконец…

Он впервые заговорил человеческим голосом, и это было особенно странно, ибо сказал он так:

— Я не человек. Я здесь лишь для того, чтобы разъяснить закон, не знающий лицеприятия. Но я прошу вас, пока не поздно, не ссылайтесь на ти-

тулы! Не предъявляйте прав аристократа и пэра.

— Почему это? — спросил неугомонный Арчер.

— Потому, — отвечал смертельно бледный Херн, — что у вас хватило глупости поручить мне и здесь поиски правды.

— Что он такое говорит? — крикнул Арчер.

— Ни черта не пойму, — отозвался флегматичный Хэнбери.

— О, да!.. — сказал судья. — Вы не простые ремесленники. Вы не учились составлять краски, вы не пачкали рук. Вы прошли через высшие испытания, хранили честь меча, в бою заслужили шпоры. Ваши титулы и гербы достались вам от давних предков, и вы не забыли своих имен.

— Конечно, мы не забыли имен, — брюзгливо сказал Иден.

— Как ни странно, — сказал судья, — именно их вы и забыли.

Снова все замолчали, только Хэнбери с Арчером грозно, почти громко глядели на судью, чей голос опять удивил собрание, ибо обрел свинцовую судейскую тяжесть.

— Применив научные методы к геральдике и генеалогии, мы обнаружили, что все обстоит не так, как думают непосвященные. Чрезвычайно малая часть нынешней знати может быть

названа знатью в феодальном смысле слова. Те, кто действительно принадлежит к знати, бедны, неприметны и не относятся даже к так называемому среднему классу. В трех графствах, вверенных мне, аристократы не имеют ни малейшего права на знатность.

Он произнес это безжизненным и бесстрастным тоном, словно читал лекцию о хеттах. Быть может, тон был слишком бесстрастным и для лекции.

— Поместья они приобрели недавно, и такими способами, которые плохо согласуются с нравственностью, не говоря уж о рыцарстве. Мелкие дельцы и крючкотворы помогали им скупать выморочные и заложенные земли. Приобретая поместья, эти люди присваивали не только титул, но и фамилию древнего рода. Фамилия Иденов — не Имс, а Ивенс. Фамилия Сивудов — не Северн, а Смит.

При этих словах Мартышка Мэррел, с состраданием глядевший на бледное лицо, что-то вскрикнул и все понял.

Кругом стоял страшный шум. В крик он еще не слился, но все говорили разом, а выше, над ними, звучал твердый голос:

— В этой части графства претендовать на

знатность могут лишь два человека — возница омнибуса и зеленщик. Никто не имеет права на звание armiger generosus[63], кроме Уильяма Понда и Джорджа Картера.

— Боже мой, старый Джордж! — воскликнул Мэррел и звонко рассмеялся. Смех его порвал путы, всю толпу охватил хохот, прибежище англичан. Даже Брейнтри вспомнил важную улыбку в «Зеленом Драконе» и улыбнулся сам.

Однако, как верно подметил Иден, король был лишен юмора.

— Не понимаю, — сказал он, — что здесь смешного. Насколько мне известно, он ничем не запятнал щита. Он не сообщался с вором, чтобы разорить праведника. Он не давал денег в рост, не приреза́л по́ля к полю, не служил сильным, как пес, и не пожирал слабых, как ястреб. Но вы, кичащиеся перед бедным вашей родовитостью, а теперь — и рыцарством, кто вы такие? Вы живете в чужом доме, вы носите чужое имя, чужой герб на вашем щите и на ваших воротах. Ваша повесть — повесть о человеке, рядящемся в чужое платье. И вы требуете, чтобы я попрал правду ради ваших доблестных предков!

---

63 notes: 63
благородный рыцарь (*лат.*)

Смех улегся, шум усилился, и смысл его был ясен. Выклики слились в крик негодующей толпы. Арчер, Хэнбери и еще человек десять повскакивали со своих мест; но выше, над криками, звучал спокойный голос:

— Итак, запишем третий приговор, отвечающий на третий пункт иска. Три истца требовали власти над производством и повиновения рабочих. Мы рассмотрели дело. Они ссылаются на власть, но они не мастера. Они ссылаются на собственность, но ею не владеют. Они ссылаются на знатность, но они не дворяне. Все три иска признаны неосновательными. Мы их отвергаем.

— Так! — проговорил Арчер. — А до каких пор мы будем терпеть все это?

Шум утих, словно устал, и все глядели друг на друга, как бы спрашивая, что же будет дальше.

Лорд Иден неспешно поднялся, не вынимая рук из карманов.

— Здесь говорили о том, — сказал он, — что одного человека признали сумасшедшим. Мне очень жаль, но придется это повторить. Не пора ли кому-нибудь вмешаться?

— Пошлите за доктором! — дико закричал Арчер.

— Вы сами поддержали его, Иден, — сказал

Мэррел.

— Все мы ошибаемся, — признал мудрый Иден. — Сумасшедший меня провел. Но дамам лучше бы всего этого не видеть.

— Да, — сказал Брейнтри. — Дамам лучше не видеть, чем кончились ваши клятвы верности.

— Кончилась ваша верность мне, — спокойно сказал судья, — но я верен вам, точнее — закону, которому присягал. Мне ничего не стоит сойти с трона, но здесь я обязан говорить правду, и мне безразлично, как вы ее примете.

— Вы всегда были актером, — сердито крикнул Джулиан Арчер.

Бледный судья улыбнулся странной улыбкой.

— Вы ошибаетесь, — сказал он. — Я не всегда был актером. Я был очень тихим, скучным человеком, пока не понадобился вам. Актером меня сделали вы, но пьеса ваша оказалась живее вашей жизни. Стихи, которые вы читали на этой самой лужайке, необычайно походили на жизнь. А как похожи они на то, что происходит теперь! — голос его не изменился, только речь потекла быстро и плавно, словно стихи были для него естественней прозы:

Я презираю все короны мира

И властвовать над стадом не хочу.
Лишь злой король сидит на троне прочно,
Врачуя стыд привычкой. Добродетель
Для знати ненавистна в короле.
Его вассалы на него восстанут,
И рыцарей увидит он измену,
И прочь уйдет, как я от вас иду.

Он встал и показался выше, чем был до сей поры.

— Я больше не король и не судья, — вскричал он, — но рыцарем я остался! А вы останетесь лицедеями. Плуты и бродяги, где вы украли ваши шпоры?

Лицо старого Идена свела судорога, словно он неожиданно испытал унижение, и он сказал:

— Хватит.

Конец мог быть только один. Брейнтри угрюмо ликовал; сторонники его понимали так же мало, как противники, но издавали дерзкие выклики. Рыцари отвечали ропотом на призыв былого вождя, откликнулись лишь двое: из дальних рядов медленно, как принцесса, вышла Оливия и, бросив сияющий темный взгляд на предводителя рабочих, встала у трона. На белое, окаменев-

шее лицо своей подруги она смотреть не могла. Вслед за ней поднялся Дуглас Мэррел и, странно скривившись, встал по другую руку судьи. Они казались карикатурой на оруженосца и даму, державших щит и меч в достопамятный день.

Судья ритуальным жестом разорвал одежды сверху донизу. Пурпурная с черным мантия упала на землю, и все увидели узкий зеленый камзол, который он носил с самого спектакля.

— Я ухожу, — сказал он. — Большая дорога — место разбоя, а я пойду туда вершить правду, и это вменят мне в преступление.

Он повернулся к зрителям спиной, и дикий его взор с минуту блуждал у трона.

— Вы что-нибудь потеряли? — спросил Мэррел, глядя в полные ужаса глаза.

— Я все потерял, — ответил Херн, схватил копье и зашагал к воротам.

Мэррел смотрел ему вслед и вдруг побежал за ним по тропинке. Человек в зеленом обернул к нему бледное, кроткое лицо.

— Можно мне с вами? — спросил Мэррел.

— Зачем вам идти со мной? — спросил Херн не резко, а отрешенно, словно обращался к чужому.

— Неужели вы меня не знаете? — воскликнул Мэррел. — Неужели вы не знаете моего имени?

Да, наверно, не знаете.

— О чем вы? — спросил Херн.

— Меня зовут Санчо Панса, — ответил Мэррел.

Минут через двадцать из парка выехал экипаж, как бы созданный для того, чтобы показать связь нелепицы с романтикой. Дуглас Мэррел побежал за какой-то сарай, появился оттуда на верхушке прославленного кеба, склонился, как вышколенный слуга, и пригласил господина войти. Но великому и смешному было суждено подняться еще выше: рыцарь в зеленом вскочил на коня и вскинул вверх копье.

Всесокрушающий смех еще затихал, как гром, а в озарении молнии немногим явилось видение, такое яркое, словно из гроба встал мертвец. Все было здесь — и худое лицо, и пламя бородки, и впалые, почти безумные глаза. Оборванный человек верхом на кляче потрясал копьем, над которым мы смеемся триста лет; за ним зияющей тенью, хохочущим левиафаном вставал кеб, словно его преследовал дракон, как преследует смех красоту и доблесть, как набегает волна сего мира; а с самой вышины тот, кто и меньше, и легче, жалостливо глядел на высокого духом.

Нелепица тяжкой ношей загромыхала за рыцарем, но ее навсегда смело и смыло страстное

благородство его лица.

Глава 18. ТАЙНА СИВУДСКОГО АББАТСТВА

Многие удивились, когда пророк, пришедший благословить, проклял и удалился. Но больше всех удивился тот, кого он не проклинал. Джону Брейнтри казалось, что законы каменного века выкопали и вручили ему, словно каменный топорик. Чего бы он ни ждал — феодальной ли мести, рыцарского ли великодушия — такого он услышать не думал. Когда он оказался самым средневековым из всех, ему стало не по себе.

Он растерянно взирал на завершение торжественного действа, когда вперед вышла Оливия. Тогда он застыл на минуту, собрался и с коротким смешком направился к пустому трону. Положив ей руки на плечи, он сказал:

— Ну вот, моя дорогая. Кажется, мы помирились.

Она медленно улыбнулась.

— Мне очень жаль, — сказала она, — что вы не примете его суда. Но я радуюсь всему, что нас помирило.

— Вы уж меня простите, — сказал Брейнтри. —

Я только радуюсь, мне не жаль. Те, кто с ним, должны быть теперь со мной — то есть те, кто поистине с ним, как вы.

— Мне не так уж трудно быть с вами, — сказала она. — Мне было очень трудно без вас. Особенно когда вы проигрывали.

— Теперь мы выиграем, — сказал он. — Мои люди приободрятся. Да и сам я, как орел из псалма… юность обновилась. Но причиной тому не Херн.

Она смутилась и сказала:

— Наверное, кто-то займет его место.

— Какое там место! — воскликнул Брейнтри. — Неужели вы верите, что нас победило движение? Нас победил человек и те, кто за ним пошли. Неужели вам кажется, что я буду бороться с теми, кто его бросил? Я говорил, что не боюсь боевых топориков, и не боялся, и уж никак не побоюсь, если на меня замахнется старый Сивуд. Как же, они будут доигрывать пьесу! Мы еще услышим о том, какой блестящий судья и великодушный властелин сэр Джулиан Арчер. Но неужели вы думаете, что мы не прорвемся сквозь бумажный круг? Душа ушла, душа скачет по дороге за милю отсюда.

— Вы правы, — не сразу сказала Оливия. — Дело не только в том, что Херн — человек великий.

Они утратили честь, утратили невинность. Они слышали правду и знают, что это правда. Но одного из них, нет — одну мне очень жаль.

— И мне жалко многих, — сказал Брейнтри, — но вы…

— Такой беды не случалось ни с кем, — перебила она. — Нам было гораздо легче.

— Я не совсем понимаю, — сказал он.

— Конечно, не понимаете! — вскричала она. Он растерянно смотрел на нее, она пылко продолжала: — Как вам понять! Я знаю, вам было трудно… и мне было трудно. Но мы не прошли через то, через что прошли они… проходит она. Мы расстались, потому что каждый из нас думал, что другой — враг истине. Но мы, слава Богу, не стали врагами друг другу. Вам не пришлось оскорблять моего отца, мне не пришлось это терпеть. Я не знаю, что бы я сделала. Наверное, умерла бы. Каково же ей?

— Простите, — сказал он, — кто это «она»? Розамунда Северн?

— Конечно, Розамунда! — сердито воскликнула Оливия. — Он даже имени ей не оставил. Что вы смотрите? Неужели вы не знали, что Розамунда и Херн любят друг друга?

— Я вообще знаю мало, — сказал он. — Если

так, это ужасно.

— Мне надо пойти к ней, — сказала она, — а я не пойму, что делать.

Она пошла к дому через покинутый сад, оглянувшись по пути на серый обломок. И вдруг она увидела странные вещи. В ослепительном свете счастья и беды она разглядела их впервые.

Она осмотрелась, словно пугаясь тишины, так быстро сменившей суматоху. Лужайка, окаймленная с трех сторон фасадом и крыльями старого дома, всего час назад кишела сердитыми людьми, а сейчас была пуста, как город мертвых. Уже смеркалось, всходила круглая луна, и слабые тени ложились на старый камень, утративший яркие тени, отбрасываемые солнцем. Старые камни здания менялись в меняющемся свете, а в душе Оливии становилось все четче то, чего она не понимала, хотя ей и надо было понять это раньше всех. Стрельчатые окна и своды, о которых она так легко говорила когда-то с Мэррелом, и витражи, чей густой и яркий цвет можно увидеть лишь изнутри, поведали ей странную весть. Внутри были свет и цвета, снаружи — тьма и свинец. Кто же там, внутри?.. Ей показалось, что стены с самого начала следят за всеми безумствами, совершавшимися здесь, следят — и чего-то ждут.

Вдруг она увидела, что в воротах стоит Розамунда. Она не могла и не решалась взглянуть на трагическую маску, но взяла подругу за руку и проговорила:

— Не знаю, что тебе сказать…

Ответа не было, и она начала иначе:

— За что это тебе? Ты всем делала добро. Как можно было так говорить?

Розамунда глухо сказала:

— Он всегда говорит правду.

— Ты самая благородная женщина в мире! — воскликнула Оливия.

— Нет, самая несчастная, — сказала Розамунда. — Никто не виноват. Это место как будто проклято.

Именно тогда все и открылось Оливии в слепящем свете. Она поняла, почему ей было страшно в тени подстерегающих стен.

— Конечно, проклято! — вскричала она. — Проклято, потому что благословенно. Нет, это не то, о чем мы все время говорили. Это не то, о чем говорил он. Не имя твое проклято, каким бы оно ни было, старым или новым. Проклятие лежит на имени этого дома.

— На имени дома, — повторила ее подруга.

— Ты сотни раз видела его на своей писчей

бумаге, — продолжала Оливия,

— и не замечала, что это — ложь. Не важно, знатен твой отец или нет. Этот дом, все это место не принадлежит ни старым семьям, ни новым. Оно принадлежит Богу.

Розамунда застыла, словно камень, но всякий бы увидел, что у нее есть уши, чтоб слышать.

— Почему развеялись наши рыцарские выдумки? — вопрошала Оливия. — Почему рухнул наш круглый стол? Потому что мы начали не с начала. Мы не поняли, на чем он стоит. Мы не подумали о том, ради чего, ради Кого все это делалось. На этом самом месте сотни две человек думали только об этом.

Она остановилась, вдруг догадавшись, что сама начала не с начала, и отчаянно попыталась объяснить свои слова.

— Понимаешь, нынешние люди вправе быть такими, нынешними… Наверное, многим действительно нужны только маклеры и банки… многим нравится Милдайк. Твой отец и его друзья по-своему правы… ну, не так виноваты, как нам казалось, когда он их обличал… ах, зачем же это он, хоть бы тебя предупредил!

Каменная статуя заговорила снова; вероятно, она могла произносить лишь каменные слова

защиты:

— Он предупреждал. Это хуже всего.

— Разреши, я скажу то, что пытаюсь сказать, — жалобно проговорила Оливия. — У меня такое чувство, будто это — не мое, и я должна отдать это тебе. Есть люди, которым и не стоит говорить о цвете рыцарства, все равно получится что-то вроде цветов жестокости. Но если мы хотим, чтобы рыцарство снова расцвело, надо найти его корень, хотя он зарос шипами богословия. Надо иначе смотреть на свободную волю, на суд, на смерть, на спасение. Ты понимаешь, это как с народным искусством. Все можно обратить в моду — и пляски, и процессии, и гильдии. Но наши отцы, сотни людей, самых обычных, не безумцев, просто *делали* все это. Мы вечно думаем о том, *как* они это делали. А надо подумать о том, *почему* они делали это. Розамунда, вот поэтому! Здесь Кто-то жил. Они Его любили. Некоторые любили Его очень сильно… Нам ли с тобой не знать, чем поверяется любовь? Они хотели остаться с Ним наедине.

Розамунда пошевелилась, словно решила уйти, и Оливия вцепилась ей в руку.

— Ты думаешь, я сошла с ума. Как можно тебе это говорить, когда тебе так плохо? Ты пойми,

эта весть прожигает меня… Она больше, чем мир и скорбь. Розамунда, есть на свете радость. Не развлечение, а радость. Развлекаются тем или этим, тут — оно само, главное. Мы видим это лишь в зеркале, а зеркала разбиваются. Но здесь это обитало. Вот почему они не хотели больше ничего, даже самого лучшего… И оно ушло. Добро ушло отсюда. Нам осталось лишь зло, и слава Богу, что мы хотя бы ненавидим его.

Она указала на серый обломок. Трещины его и выпуклости четко обрисовал свет луны, и казалось, что сверкающее чудище вышло наконец из морских глубин.

— Нам остался дракон. Я сотни раз глядела на него, и ненавидела его, и не понимала. Над ним стоял Архистратиг или святая Маргарита, они побеждали его — и вот, исчезли. Мы их и представить себе не можем. Мы плясали вокруг него и думали о чем угодно, кроме них. Здесь, на этом самом лугу, пылал костер любви, его видели за сотни миль духовным взором, грелись его теплом. Теперь у нас одни пустоты. Мы страдаем, что чего-то нет в мире. Люди борются за правду — а ее нет. Люди борются за честь — а ее нет. Они тысячу раз правы, но кончается тем, что правда и честь борются друг с другом, как боролись Майкл

и бедный Джон. Мы и представить себе не можем места, где правда и честь — в мире, где они не искажены. Я люблю Джона, Джон любит правду, но он видит ее не там. Надо увидеть ее, найти — и полюбить.

— Где она? — тихо спросила Розамунда.

— Откуда же нам знать? — вскричала Оливия. — Мы выгнали единственного человека, который мог сказать нам.

Бездна молчания разверзлась между ними. Наконец Розамунда тихо сказала:

— Я очень глупая. Попробую подумать о том, что ты говоришь. А сейчас — ты не обижайся, больше говорить не надо.

Оливия медленно пошла через сад и в тени серых стен нашла Джона Брейнтри, который ее ждал. Они пошли вместе и довольно долго молчали. Потом Оливия произнесла:

— Как это все странно… Ну, все это, с того дня, когда я послала Мартышку за краской. Я так злилась на вас и на ваш галстук, а это ведь был один и тот же цвет. Ни я, ни вы об этом не знали… но именно вы пытались вернуть цвет, за которым я гонялась, как ребенок за облачком. Именно вы хотели отомстить за друга моего отца.

— Я вернул бы ему его права, — отвечал Брейн-

три.

— Вечно вы о правах, — сказала она и нетерпеливо, но тихо засмеялась. — А бедная Розамунда… Да, вы вечно толкуете о правах… но точно ли вы знаете, на что человек имеет право?

— Узнать я успею, а пока мое дело — бороться, — отвечал неумолимый политик.

— Как по-вашему, — спросила она, — есть ли право на счастье?

Он засмеялся, и они вышли на пыльную дорогу, ведущую в Милдайк.

Глава 19. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОН КИХОТА

Быть может, когда-нибудь расскажут, как новый Дон Кихот и новый Санчо Панса бродили по английским дорогам. Холодный и насмешливый взор англичан видел лишь кеб, ползущий сквозь сцены и пейзажи, в которых кебы редко увидишь. Но вдохновенный летописец мог бы порассказать, как вознице и седоку удавалось утешать угнетенных. Он поведал бы о том, как они подвозили бродяг и катали детей; о том, как они обращали кеб и в передвижной ларек, и в шатер, и в купальню; о том, как простые душой кальвинисты принимали его за бродячую кафедру и слушали поучительные проповеди Дугласа Мэррела; о том, как Мэррел вторил Херну, читавшему лекции по истории, разъясняя неясное и собирая деньги к неудовольствию лектора. Возможно, рыцарю и оруженосцу не хватало важности, но добро они творили. К ним вязалась полиция, а это само по себе свидетельствует о праведности; они бросали вызов только тем, кто сильнее; и Херн понемногу убеждался, что общественную

пользу приносит лишь частная борьба. Он был и печальней, и в своем роде мудрее оруженосца, и в долгих беседах доказывал ему, что Дон Кихоту пора вернуться. Особенно долгой была их беседа в холмах Сассекса.

— Говорят, что я отстал от века, — сказал Херн, — и живу во времена, о которых грезил Дон Кихот. Но сами они тоже отстали столетия на три и живут во времена, когда Сервантес грезил о Дон Кихоте. Они застряли в Возрождении. Тогда казалось, что многое рождается заново; но ребенок трехсот лет от роду немного недоразвит. Ему надо бы родиться еще раз, в ином обличье.

— Почему же, — спросил Мэррел, — он должен родиться в обличье странствующего рыцаря?

— Что тут невозможного? — в свою очередь спросил Херн. — Человек Возрождения родился в облике древнего грека. Сервантес считал, что романтика гибнет, и место ее занимает разум. Сейчас гибнет разум, и старость его более убога, чем старость романтики. Нам нужно проще и прямее бороться со злом. Нам нужен человек, который верит в бой с великанами.

— И бьется с мельницами, — сказал Мэррел.

— Вы никогда не думали, — спросил Херн, — как было бы хорошо, если бы он их победил?

Ошибался он в одном: надо было биться с мельниками. Мельник был средневековым буржуа, он породил наш средний класс. Мельницы — начаток фабрик и заводов, омрачивших нынешнюю жизнь. Сервантес свидетельствует против самого себя. Так и с другими его примерами. Дон Кихот освободил пленников, а они оказались ворами. Теперь нельзя так ошибиться. Теперь в кандалах нищие, воры — на свободе.

— Вы не думаете, — спросил Мэррел, — что современная жизнь слишком сложна, чтобы подходить к ней так просто?

— Я думаю, — отвечал Херн, — что современная жизнь слишком сложна, чтобы подходить к ней сложно.

Он встал и принялся шагать по дороге. Взгляд у него был отрешенный и огненный, как у его прототипа, и говорил он с трудом.

— Как вы не поймете? — вопрошал он. — В этом вся суть. Ваша техника стала такой бесчеловечной, что уподобилась природе. Да, она стала второй природой, далекой, жестокой, равнодушной. Рыцарь снова блуждает в лесу, только вместо деревьев — трубы. Ваша мертвая система так огромна, что никто не знает, где и как она сломается. Все рассчитано, и потому ничего

нельзя рассчитать. Вы приковали человека к чудовищным орудиям, вы оправдали наваждение Дон Кихота: мельницы ваши — великаны.

— Есть ли выход? — спросил его друг.

— Да, — ответил Херн. — Вы сами нашли его. Когда вы увидели, что врач безумнее пациента, вы не рассуждали о системах. Вы не Санчо Панса. Вы тот, другой.

Он простер вперед руку, как в былое время.

— Что я сказал с трона, скажу у дороги. Только вы родились снова. Вы — возвратившийся рыцарь.

Дуглас Мэррел сильно смутился. Должно быть, лишь эти слова могли вырвать у него признание, ибо под шутовством его лежала сдержанность, более глубокая, чем сдержанность его касты. Он несмело взглянул на Херна и сказал:

— Вот что, вы не очень мне верьте. Не такой уж я рыцарь. Надеюсь, я помог старому ослу, но мне понравилась девушка… очень понравилась.

— Вы сказали ей об этом? — прямо, как всегда, спросил Херн.

— Как же я мог? — удивился Мэррел. — Она ведь была мне обязана.

— Дорогой Мэррел! — воскликнул Херн. — Это чистое донкихотство!

Мэррел вскочил и засмеялся.

— Вот лучшая шутка за три столетия! — вскричал он.

— Не вижу, в чем тут шутка, — задумался Херн. — Разве можно пошутить нечаянно? Что же до ваших слов, не думаете ли вы, что по кодексу самообуздания вы уже вправе попытаться? Вы хотели бы… вернуться на Запад?

Мэррел снова смутился.

— Откровенно говоря, я избегал тех мест, — сказал он. — Я думал, и вы…

— Да, — сказал Херн. —Я долго не мог глядеть в ту сторону. Мне хотелось повернуться спиной к западному ветру, и закат жег меня, как раскаленное железо. Но с годами становишься мудрей, если и не станешь веселее. Сам я не мог бы пойти туда, но я был бы рад узнать… обо всех.

— Если вы поедете со мной, — сказал Мэррел, — я пойду и все разузнаю.

— Вы сможете, — почти робко спросил Херн, — войти… в Сивудское аббатство?

— Да, — сказал Мэррел. — В другой дом мне было бы труднее войти.

Немногословно, хотя и не совсем молчаливо, они решили, как и что делать дальше; и вскоре увидели то, чего боялись так долго — зеленые

уступы, деревья и готические крыши, освещенные вечерним солнцем. И совсем уж нечего было говорить, когда Майкл спрыгнул с коня и взглянул на друга через плечо. Тот кивнул и пошел легким шагом по крутой тропинке. Сад был такой же, как прежде, разве что аккуратней и тише; но главные ворота были заперты.

Мэррел не страдал суеверием, но ему стало не по себе, когда он впервые в них постучался, а потом позвонил в колокол. Ему казалось, что это сон; еще ему казалось, что близко пробуждение. Но какими бы странными ни были его предчувствия, действительность их превзошла.

Примерно через полчаса он вышел из ворот и спокойно направился вниз, но друг почувствовал что-то странное в его спокойствии. Заговорил Мэррел не сразу.

— Странная штука случилась с аббатством, — сказал он. — Оно не сгорело, вон, стоит и даже лучше выглядит, чем прежде. В материальном, метеорологическом смысле его не поразил гром небесный. Но с ним случилась странная штука.

— Что же с ним? — спросил Херн.

— Оно стало аббатством, — отвечал Мэррел.

— Что вы хотите сказать? — вскричал его друг.

— То, что сказал. Оно стало аббатством. Я гово-

рил с аббатом. Хотя он и ушел от мира, он поведал мне много новостей, потому что знает тех, кто жил тут раньше.

— Значит, здесь монастырь, — сказал Херн. — Что же поведал аббат?

— Началось с того, — отвечал Мэррел, — что год назад умер Сивуд. Все перешло его наследнице, а она, как говорится, спятила. Она стала христианкой, и самой странной: отдала поместье другу моему аббату и его веселому воинству, а сама ушла работать в какой-то монастырский приют. Он в доках, на Лаймхаусском участке…

Библиотекарь побледнел и вскочил со всею силой странствующего рыцаря. Глядел он не на башни Сивуда.

— Я еще не совсем понял, — сказал он, — но это меняет все, хотя не очень облегчает. Нелегко пойти в доки и справиться…

— …о родовитой Розамунде Северн, — закончил его друг. — Нет, она зовется иначе. Вы найдете ее, если спросите мисс Смит.

При этих словах безумие, словно гром небесный, поразило библиотекаря. Он перепрыгнул через изгородь и побежал на восток, к лесу, отделявшему его от доков и мисс Смит.

Прошло месяца три прежде, чем кончилось

его паломничество, а с ним — и наша повесть. Уже не бегом он преодолел лабиринт Лаймхауса и вечером, в зеленом тумане, подобном парам ведовского зелья, свернул в узкую улочку, где светился бумажный фонарь. Немного дальше горел еще один фонарь. Подойдя к нему, Херн увидел, что он — железный, с цветным стеклом, на котором довольно грубо изображен святой Франциск и алый ангел за его спиной. Эта прозрачная картинка показалась ему знаком всего, что сам он искал когда-то так яростно, Оливия Эшли — так тихо. Но была и разница: фонарь светился изнутри.

Он жадно пил цвет, осветивший его жизнь, из пламенной чаши символа, сияющего сквозь мрак улицы, и не удивился, что Розамунда стоит перед ним, словно в его снах или в трагической мелодраме былого. Рыжие волосы пылали огненной короной, а платье было длинное, темное, но вполне обычное.

Со свойственной лишь ему неловкой быстротой он сказал:

— Вы няня, а не монахиня.

Она улыбнулась и отвечала:

— Мало вы знаете о монахинях, если думаете, что наша… наша история могла бы кончиться

так. В монастырь не уходят с горя.

— Вы хотите сказать… — начал он.

— Я хочу сказать, — продолжила она, — что не рассталась с надеждой на меньшую радость. Должно быть, это очень часто говорят, но это правда: я знала, что вы меня найдете.

Она помолчала и начала снова:

— Не будем вспоминать старых ссор. Отец гораздо меньше виноват, чем вы думали, и гораздо больше, чем думала я. Но не мне и не вам его судить. Не он породил то зло, от которого пошли все беды.

— Я знаю, — сказал он. — Меня это мучило, пока я не понял, какова мораль этой повести. Но во всей повести нет ничего лучше вас и вашего подвига. Быть может, ученые сочтут вас легендой.

— Первой поняла Оливия, — серьезно сказала Розамунда. — Она умнее меня и все увидела. А я ушла и долго думала, и вот — пришла сюда.

— Оливия тоже… пришла сюда? — медленно спросил Майкл.

— Да, — отвечала Розамунда. — И знаете, Брейнтри доволен. Они теперь женаты и согласны во всем. Я часто думаю, стоило ли так много спорить.

— Все женятся, — сказал он.

— Даже Мэррел женился, — сказала она. — Словно конец света. Нет, скорее начало. Одно я знаю точно, хотя многие посмеялись бы. Когда возвращаются монахи, возвращается брак.

— Мэррел поехал к морю и женился на мисс Хэндри, — объяснил Майкл. — Мы расстались в аббатстве. Он отправился на запад, я — на восток. Мне было очень одиноко.

— Вы сказали «было», — улыбнулась она, и они шагнули друг к другу, как тогда, в пламенном молчании сада. Теперь молчание нарушил Майкл.

— Я, наверное, еретик, — быстро и неловко сказал он.

— Посмотрим, — спокойно и величаво ответила она.

Он вспомнил свой нелепый разговор с Арчером об альбигойцах и не меньше минуты сводил концы с концами. Потом на узкой улице случилось небывалое: впервые в жизни Майкл Херн намеренно пошутил. Как ему и подобало, никто не понял его единственной шутки.

— Ну, что ж, — сказал он. — Iit in matrimonium.